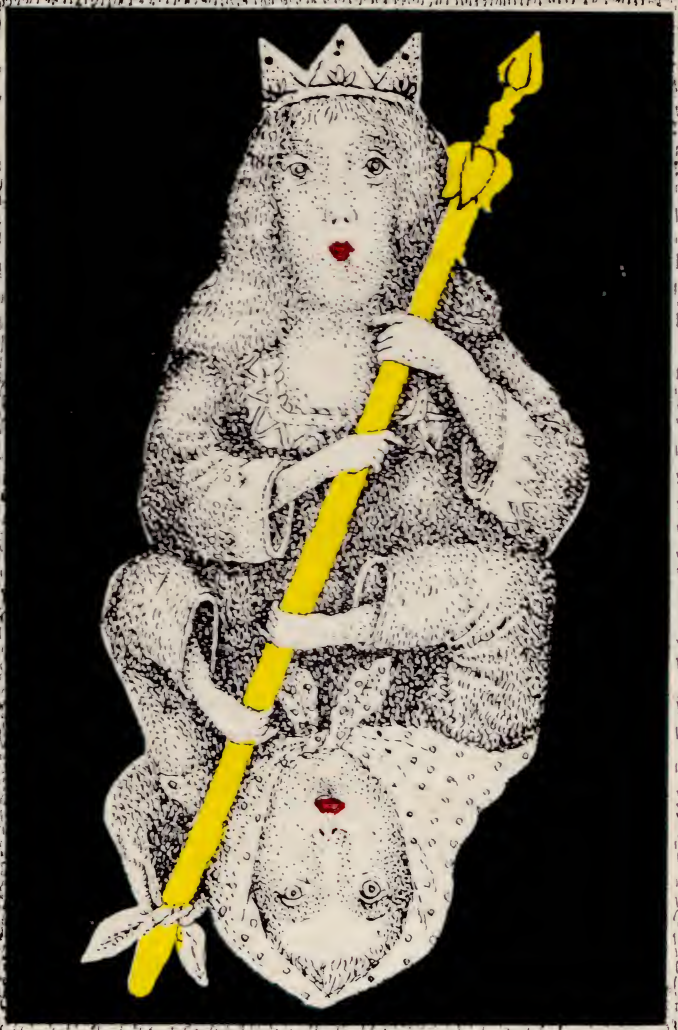
КАЗИС САЯ



ЗА ТАИНСТВЕННОЙ ДВЕРЬЮ

КАЗИС САЯ

ЗА ТАИНСТВЕННОЙ ДВЕРЬЮ

Более веселая, нежели грустная,
скорее сказка, чем повесть

Авторизованный перевод с литовского
НИКИТЫ ВОРОНОВА

ВИЛЬНЮС 1984

84Ли7
С22

Иллюстрации
СТАСИСА ЭЙДРИГЯВИЧЮСА

С 4803010200—348
М852(08)—84 287—84

© Leidykla „Vaga", 1978
© Перевод с литовского.
Издательство «Вага», 1984

Пролог

ЕСЛИ У ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ ОТОРВАТЬ НОЖКУ

В каждом классе есть свои шуты, всегда готовые шугануть воробьев обыденности — освободить место для веселых жаворонков или чибисов, предвестников весны.

Кое-кто и меня считает таким весельчаком. Оно может и так, да я-то знаю, что охотнее всего смеются над неудачниками... Вот наш Йонас Лекятис — сидит в каждом классе по два года и хвастает, что делает это нарочно, дескать, его отец считает: «Наука не кисель — много не съешь!»

У доски Лекятис никогда прямо не скажет — урок не выучил, не знаю. Нет, Йонасу надо испытать судьбу: может, с первой парты кто шепнет, может, сам нечаянно выкарабкается... У нас это называется ответом по методу «слепой курочки», и мы с нетерпением ждем каждого выступления Лекятиса.

Увы, многие учителя зададут ему пару вопросов — не знаешь — садись — тройка. (Двойки у нас только хорошим ученикам ставят — те при желании могли бы на пятерку тянуть.) А директорша Думшайте — она биологию ведет — отпускает Лекятиса лишь после долгих проповедей: и

лентяй-то он закоренелый, и процент успеваемости губит, и честью класса не дорожит...

Если б Лекятис стоял да помалкивал, директорша бы выдохлась и скоро закончила. Но Йонас только сначала молчалив, а чем строже ему выговаривают, тем болтливее становится и иной раз такие аргументы приводит, что мы помираем со смеху.

Мы стонем, кашляем, грызем ногти, прячем головы под парты — в открытую смеяться на уроках Думшайте запрещено категорически. Директорша не позволяет себе даже улыбнуться, по-моему, она и слов-то этих не знает — «смеяться» и «хохотать».

Нас она приструнивает так:

— Вижу-вижу: не зубы — орга́н. Можешь спрятать.

Или стучит чем-нибудь по столу:

— Хватит визжать! Что за гогот?! Кому невтерпеж — марш за дверь! Водички попейте.

Чаще всего она предлагает это мне: я сижу на первой парте, и мне просто не за кого спрятаться.

— Ну, Лекятис,— говорит директорша,— расскажи нам, чем отличается вегетация от регенерации.

— Вегетация от генерации? — привычно переспрашивает Лекятис, шаря глазами по классу. Это он подмогу ищет.

— Я начну с примеров...—почти торжественно отвечает Йонас.— Вот какие примеры есть вегетации... Их, примеров, значит, очень много. Примеры вегетации в природе наблюдаются повсюду...

— Например?

— Например?! Ну, если взять зерно или горошину... Если ее положить туда, где хватает солнца, влаги и

этой...— Йонас смотрит в потолок и, вспомнив, кричит: — Воздуха!..

Директорша щелкает пальцами и награждает меня недобрым взглядом, потому что я не стерпел и фыркнул. Тогда я стараюсь не слушать, как Йонас будет «вегетировать» дальше, достаю из портфеля лупу и исследую свою ладонь.

— Ну! — подбадривает Думшайте.— Что же ты будешь делать с этой горошиной?

— Я положу ее под увеличительное стекло...— по-своему истолковывает мои действия Йонас и ждет от класса новых указаний.

— Ну и что? Что из того? — торопит директорша.— Вот тебя, Лекятис, положить под стекло — ты от этого изменишься?

— Я? И она прорастет! — вскрикивает Йонас и вдруг весь класс прошибает «насморк». Все сморкаются, кашляют и зажимают рты.

— Так... Чудесно...— уже раздраженно говорит директорша.— Ну, а регенерация? О таком явлении ты слышал?

— Генерация?! — всем своим существом взывает о помощи Йонас-Дылда. (Йонасом-Коротышкой ребята зовут меня.)

— Червь... Дождевой червь...— шепчут девчонки с соседнего ряда, а я ухом показываю на сидящего за мной Антанаса-Рака.

— Не подсказывать! — стучит карандашом директорша.

— Примером регуляции является рак...

— Не регуляции, а ре-ге-нерации! Повтори.

— Примером регенерации является рак или еще червь...

— Ну?

— Если мы оторвем у дождевого червя ножку...

— Что-что?!

— Если мы разорвем рака... то есть червя пополам...

— И что же тогда? — грозно поглядывая на нас торопит Лекятиса директорша.

— Тогда он покрутится, повертится и... опять срастется...—говорит Йонас и, сам себе не веря, пожимает плечами.

— Не срастется, а передняя часть может отрастить... что?

— Задницу!

Стук карандаша превращается в пулеметный треск и заглушает наш восторг.

Думшайте требует, чтобы я встал, прекратил грызть ногти и объяснил «этому кавалеру», что такое вегетация и что — регенерация.

Чтоб не засмеяться, я поглубже вздыхаю и сыплю, как горохом:

— Вегетацией называется рост организма и его жизнедеятельность, а регенерация — это такое явление, когда организм восстанавливает утраченные органы или части ткани. Например...

— Хватит,— усаживает меня жестом директорша и заставляет Лекятиса повторить.

Лекятис что-то бормочет себе под нос и смолкает.

— Повтори, я сказала!

Йонас злобно зыркает на меня, потом — особенно свирепо — на Думшайте и, передразнивая меня, скороговоркой выдает:

— Рост пле-пле-пле-пле — это вегетация, а бле-бле-бле-бле — это дегенерация. Я так быстро не перевариваю.

— Ах, не перевариваешь... Парту за эти годы, небось, до дыр протёр, скоро бриться начнешь, а всё то же — «дегенерация». Стыдно!

Лекятис, насупя брови, уставился в потолок, пожевал губами и неожиданно рубанул:

— А вот по телевизору говорили, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя. И в газете писали...

И тут же робко добавил:

— Вегетация — это... когда некоторые растения или животные не едят мяса. Тогда такой процесс...

По-моему, мы захохотали все разом, и это было так здорово, что я заранее готов был заплатить за этот смех любую цену.

Утирая слезы, я приветливо взглянул на директоршу — мне хотелось и ее, бедняжку, прокатить на тряской телеге смеха. Но Думшайте ухватила меня за шиворот, словно кота, нагадившего в зерно, и подтолкнула к двери.

— Выпей воды... От истерики помогает. Придешь в себя — поговорим.

Класс умолк. Козел отпущения был найден. Лекятис стоял понурившись и ждал казенной тройки. Ни при каких обстоятельствах он не скалит зубов, не ржет и не хихикает. Лекятис всегда серьезен, как и его отец, который до смерти любит учить других и ездит на «Жигулях-люкс».

Выйдя во двор, я подумал: может, правда, легче станет, если попить. А для убедительности можно брызнуть на пиджак: вернусь в класс — директорша увидит, что все ее пожелания исполнены.

Во дворе пахло навозом. Запах школьного огорода перемешивался с руганью нашего завхоза Жобакаса.

— Но! Подлюга! Но! Ты у меня поартачишься! Но! Дохлятина!

И все время — хрясь по спине, хрясь!

Я подбежал, смотрю: навоза в телеге — гора, колесо увязло в раскисшей земле, а этот остолоп, сам здоровее лошади, яростно охаживает школьного Гнедого и не то что кнутом, а прямо вилами!

— Не бейте лошадь! — крикнул я против ветра.— Сперва навоз свалите!

— А ты пойди сопли утри! — гаркнул он мне, воткнул вилы в землю и схватил лошадь под уздцы.— Но! Подлюга! Шевелись, говорю, падаль!

Гнедой фыркает, топчется на месте и старается голову повыше задрать, потому что завхоз ему не только щеки удилами рвет, но и метит кулаком в нос. Ах, как меня подмывало схватить вилы и ткнуть этого негодяя! Но тут в голову пришла более тонкая мысль.

— Товарищ Жобакас,— сказал я сдержанно,— вас директор зовет. Велела, чтоб немедленно... Она сейчас в седьмом «Б». Я пока присмотрю за конем.

— Как же я? В навозе-то? — забормотал завхоз и, вытерев резиновые сапоги, поплелся к колодцу мыть руки.

Я нарвал у забора сочной травы, скормил ее грустной лошадке, почесал спутанную гриву, а потом взял вожжи и сказал:

— Ну-ка, Гнедой, попробуем... Только не спеши. Потихоньку... Оп-па...

Гнедой вздохнул, вытянул шею, напрягся весь и, к моей огромной радости, вытянул телегу на сухое место.

Мне захотелось погладить истерзанную удилами печальную морду, но Гнедой, сто лет не видевший ласки, зато ежедневно битый, не понял меня и цапнул зубами выше локтя — аж сладко стало от боли...

Иду, постанывая, мимо школы, держусь за больную руку, вижу: навстречу завхоз, злющий!

Хотел оправдаться, показал на телегу, а он — хрясь мне в ухо, я думал — голова отлетит. Но ничего. Вместе с головой и все остальное полетело. Лежу у стены, в голове звенит, а этот боров еще губами шлепает, кулаком грозит — доводит до сведения, что у директорши меня ждет баня.

Вдоль мокрого школьного фундамента куда-то спешил дождевой червь. Беги, червячок, потому что, если тебе оторвут ногу... Нет, уже не смешно. Теперь о регенерации я бы сказал примерно так:

— Если мы оторвем раку клешню или червяка разрубим пополам, то ему, бедолаге, сначала будет нечеловечески больно. И очень горько, что кто-то его обидел ни за что ни про что. Так горько будет, что вегетировать не захочется. Только потом, когда он где-то в укромном уголке наплачется вволю, по-собачьи зализет свои раны, ему придет на ум, что впредь надо быть осторожнее, надо прятаться или обороняться — только тогда начнет медленно отрастать новая клешня, только тогда, несмело оглядываясь, может быть, вернется к нему веселость...

Вот такой длительный и болезненный процесс очень по-научному, сухо и без сочувствия называется РЕГЕНЕРАЦИЕЙ.

А я думаю, что однажды обиженная тварь уже никогда не будет такой веселой и жизнерадостной, как прежде.

ТО НЕ СОЛНЫШКО НАД ЛЕСОМ ПОДНИМАЕТСЯ...

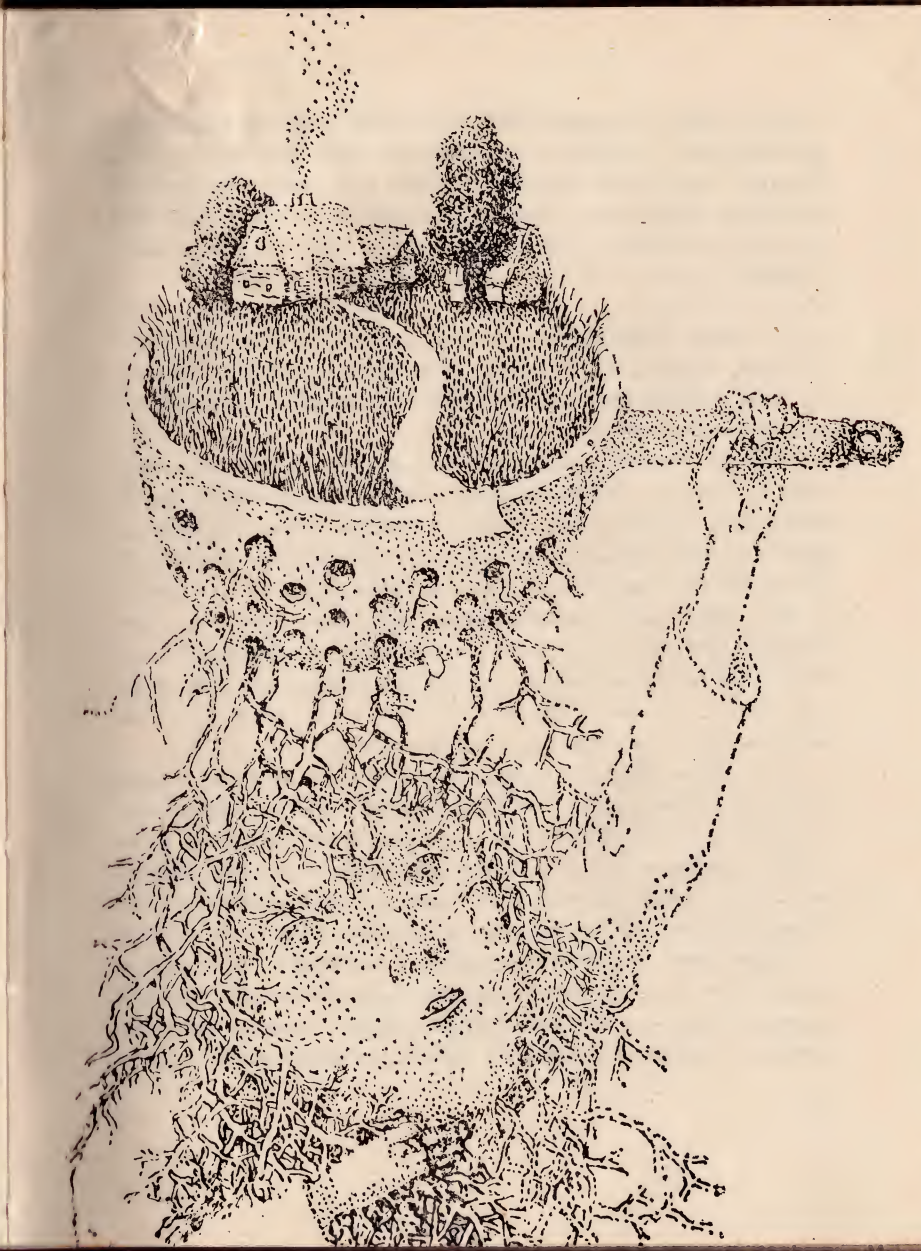
Честно говоря, мой отец чем-то смахивает на этого завхоза. Не лицом, конечно, а... В общем, отец — бригадир, и сейчас, весной, когда в колхозе столько хлопот, дел, забот, он редко возвращается в добром настроении. Раньше он хоть от выпивки веселел, а теперь чуть примет — и сразу печень болит.

Лучше бы ему не знать про то, что в школе случилось. Конечно, директорше этого не объяснишь. Она чуть что — приведи отца. Не дедушку, у которого есть время и который любит меня, не какую-нибудь тетку подоброе, а именно отца. Как будто он теленок или жеребец: накинул на шею веревку, похлопал по крупу и привёл.

Мама уже три года живет не с нами, а в городе с другой семьей. Так уж получилось. Сестру она увезла с собой, а меня подарила отцу. Но он, видно, был неудовлетворен и с тех пор очень испортился. Теперь у меня есть что-то вроде мачехи, и отношения у нас, как с директором — товарищ Думшайте. Ей тоже не нравится, что я много смеюсь, а я не собираюсь хныкать ей на радость. Всяк сам себе хозяин.

И чего ради я все это докладываю? Терпеть не могу семейных историй. Но такой уж я болтун: что на уме, то и на языке. Ладно, вернемся к школе.

Звон в ушах после эдакого благословения — для меня не впервой, но ведь звон звоном, а кроме того, здесь болит, там першит, тут горит, а сердце точь-в-точь, как тот рак с оборванными клешнями. «Что теперь? Куда теперь? Как теперь?»



К черту все теперь! Но если стоять тут и шониться, уткнувшись в стену, то со звонком облепят меня друзья, начнут тормошить: почему брюки в грязи, отчего щека распухла. Поэтому постоял я, поковырял пальцем кирпичи да и пошел куда глаза глядят. От отцова крова и всего живого.

Не знаю, как далеко я забрел, но только вскоре почувствовал, что я уже не один. В гудящую понурую голову одна за другой, словно в голубятню, ринулись мои милые птицы-мечты.

Просто так их не дозовешься, хоть охрипни. Ты трескаешь котлеты, гоняешь мяч или слушаешь этого шута Лекятиса, а чудо-птицы летают где-то. Иногда кажется, что они уже никогда не вернутся. Но стоит почувствовать себя одиноким или обиженным — они тут как тут.

И чего только они не нащебечут, чего только не наговорят утешая! А иной раз и меня превращают в птицу. И тогда в один миг оказываешься далеко-далеко! За сотни лет от того дня, за тысячи верст от того места, где совсем недавно томился, как творог под гнетом.

Домашние уже привыкли, что время от времени, средь бела дня меня куда-то «черти уносят». Но я уже не маленький, поэтому никто не ищет меня в колодцах и не бежит аукать в лес. А может, я соскучился да отправился сестру с мамой проведать? Может, я еще вчера у отца отпросился, а он, как всегда, забыл про это?

Опомнился я в незнакомом лесу. Тропинка, протоптанная косулями в орешнике, усыпанном фиалками, привела меня к обрыву, с которого видно было озеро, мерцавшее среди деревьев. Со старой полусухшей липы, лениво

взмахивая крыльями, поднялся большой ободранный ястреб. Все школьные неприятности испарились. Смутно, словно в тумане, маячила только худая забитая лошадь, которую я хотел погладить, а она меня — цап! — и укусила.

Вспомнилось вдруг то, чего и быть не могло. Внимательно присмотревшись, я понял, что и этот лес, и озерная заводь мне знакомы. Я был почти уверен, что за ближайшим пригорком увижу залив, а на берегу ручья — четыре разлапистых дуба. Я бросился на поросший соснами холм. Ну так и есть! Звенит ручеек, могучие дубы возвышаются над вербами и березами, цветет черемуха, а вот и ТЕ САМЫЕ ЛИПЫ с ободранными стволами!

Я говорю — те самые, потому что я здесь наверняка был. И совсем недавно. Да-да, вчера или позавчера я приплывал сюда за лыком для лаптей. Увидал, что присмотренные мною липы уже кем-то ободраны. Одно утешение — человек был человечный: не дал деревьям засохнуть, не раздел их догола. С одного, с другого срезал по полоске — и все.

— Что же это получается,— думаю...— Неужели мои птицы умчали меня в такую древность? Неужели я не я? Как меня зовут? А фамилия? Ей-богу, не помню. Но зато могу толково рассказать, как я подгреб сюда на вязовом челне, как в камышах увидел кем-то оставленные верши. В одной из них плескалась большущая рыбина. Чего мне стоило пересилить себя и не вытряхнуть ее в свой челнок!

А может, мне все приснилось? Ну, а этот валун... Только я сел на него, как мои ноги облепили муравьи. Я уважаю муравьев за их трудолюбие, вот и решил сложить для них под камнем дворец из перламутровых ракушек.

Сбегал на берег, набрал пустых раковин и красивых камушков и, сдвинув валун, построил под ним сказочный замок, какого, пожалуй, и у королевны Фелиции нет.

Королевна Фелиция? Кто такая? Откуда это имя? Постой-постой, сдвину валун и посмотрю — сон это или явь.

Эге! Тут еще попотеешь, пока такую махину с места сдвинешь. Я напряг все силы, даже оскалился с натуги, камень поддался, но, заваливаясь, решил придавить мне ботинок.

Никаких сомнений не оставалось: муравьи, обитатели моего перламутрового замка, всполошились, забегали, не понимая, отчего разверзлось небо, и я пожалел, что без особой надобности потревожил их покой.

Привалив камень на прежнее место, я высвободил ногу и уже совсем не удивился, что на ней не ботинок, а видавший виды лапоть.

И вдруг я вспомнил! Вспомнил свое имя: ведь я же Йонас, сын богомаза Атутиса! Правда, все кличут меня Швипсом. Наверно, из-за того, что еще малышом я страсть как любил распевать:

То не солнышко над лесом поднимается,
Это Швипс-простачок улыбается...

Глава I

ПОРТРЕТ КОРОЛЯ

Йонас был полусиротой. Он явился на свет, когда в большой семье Атутиса его никто не ждал. Мать умерла, даже не успев взглянуть на младенца. И хоть у Йонаса, прозванного позднее Швипсом, было три брата и сестра, никакой ласки от них он не видел. Мол, не родись ты, зубоскал, то и матушка в живых бы осталась...

Старый Атутис еще в юности научился у какого-то монаха красить стены костелов и рисовать на них обитателей рая и ада. Боженьку Атутис писал похожим на себя, да и соседи нередко узнавали свои лица среди великомучеников и апостолов. Ну, а всякие мошенники, злые приказчики и панские холуи на картинах Атутиса корчились в геенне огненной.

Но в жизни было иначе... В те времена правил свирепый кровожадный король Аштаутас, которого в народе звали Березовым или Конопляным.

Березовым — потому что заставил бедняков не только помещиков бояться, их прихвостней да собак-доносчиков, но и безобидного деревца — березы.

Тонкие прутья —
Хлестать до кровушки.

Толстые суки —
Перекинуть веревушку.
Кислый сок —
Палачам на похмелье...

А Конопляным короля величали за строжайший приказ всем мужикам опоясаться саженной веревкой, чтоб каждый себя в узде чувствовал. В какую сторону потянут — туда и лапти волоки. А ослушался — тебя той же веревкой скрутят, ею же высекут, на ней же и вздернут.

Поговаривали, что владыка безобразен лицом, и посему ненавидит каждого, кто хоть чуть-чуть больше его на человека похож. Кое-кто божился, что в молодости Конопляный был очень даже красив и дочь, дескать, прижил красавицу, но со временем, властвуя, озверел и телом, и душой.

— И как по нему сатана не соскучится! — сетовали люди и успокаивали себя: — Потерпим, подождем. И у широчайшего есть край, и у глубочайшего — дно.

И вот в один несчастный день нагрянули к Атутису королевские слуги. Стащили его в каком-то костеле с алтаря, словно живого боженьку, и говорят:

— Сгребай свои краски. Поедешь во дворец высочайшую особу писать.

О господи! И его черед настал! Шла молва — Атутис про то слыхал — что Аштаутас по примеру других королей возжелал оставить потомкам свой портрет. Но разве Конопляному угодишь?! Одних художников обозвал льстецами и тупицами — в солдаты забрил, других объявил хулителями королевской особы, клеветниками — приказал повесить. А иные, не дожидаясь, когда их призовут,

поспешили ослепнуть, оглохнуть или хоть как-нибудь занемочь. Этих, говорят, теперь на каторге и утром и вечером розгами лечат...

Бедолага Атутис грохнулся на колени, стал детьми клясться, что неученый он — вот и кисточка из конского волоса, и краска непотребно пахнет...

— Ничего,—успокоили приезжие,— вот бока наломаем, может, и запахи пропадут...

И указали на алтарь:

— Коли ты господа бога в глаза не видел, а так написал, чего ж короля боишься? Изобрази владыку, чтоб всяк, увидев, на колени падал...

— Не падут, господа милые, не падут... Господа бога, изволите видеть, я по образу и подобию своему изображаю. Моя борода, мои глаза, мои...

— Может, ты и к господу ближе, чем король? А?

— Выходит, ближе...— к возмущению ксендза и королевских слуг ответил Атутис.— Я про того господа говорю, которого сам писал... Сперва он меня по образу и подобию своему, теперь — я его... А короля-то тогда и вовсе не было... Человек был королем, а король — человеком... О господи! Что это я!.. Смилуйтесь, господа-бояре... Куда вы меня?.. За что вы меня?.. Я ведь — богу богово, а кесарю...

Но королевские слуги бросили Атутиса в карету, словно битого-недобитого хорька в мешок, и повезли в замок Аштаутаса.

Не слышал Атутис, как четверка каурых бубенцами звенит, не видел, как шестнадцать подков по большаку искры мечут. Полпути смотрел в окошко да всему «прощай» говорил, а оставшуюся половину — думал, как бы в

королевском замке, если не жизнь, то хоть совесть уберечь.

И придумал: будет королю портрет — его, Атутиса, рубаха холщовая, окровавленная, хлыстами иссеченная! И без красок обойдется — снимет перед Конопляным рубаху и скажет: «Вот, король всемогущий, твое лицо! Здесь и ты, и твои придворные, и все твое королевство!..»

Так создал Атутис, пожалуй, лучшую свою картину да не вернулся к детям. Пропал словно в воду канул.

И теми же днями, внезапно, скончался король Аштаутас. По слухам, мужичок какой-то не то воробьем во дворец прилетел, не то кротом прорылся, упал перед королем на колени да показал свою окровавленную рубаху... Мало того — поведал обо всем, что творится в королевстве.

Властелин покачнулся, одной рукой показал кулак министрам-негодяям, другую прижал к разрывающемуся от горя сердцу, упал в объятия мужичка, моля о прощении... и преставился.

Ну как после этого не плакать, как не проклинать гнусных царедворцев?

Ироды окаянные!

Ни дна вам ни покрышки!

Вечная вам мука, упыри злобные!

И хоть говорят, что собачий лай до неба не доходит, но властям надоели в конце концов эти проклятия.

Выждав, пока память об Аштаутасе начисто смылась слезами, сытые вельможи пустили другой слух. Мол, грешно попрекать нас жестокостью и бессердечием, преступно верить вражьим сплетням, что владыка скончался, взглянув на чью-то нестиранную рубаху... Разносчики сих

небылиц и есть истинные убийцы нашего короля, по-отцовски справедливого и даже, пожалуй, слишком милосердного.

Пользуясь его добротой, изменники подослали во дворец некоего полоумного «художника», обещавшего подарить его величеству прекрасную картину. Но холст сей был пропитан страшнейшим ядом. Несчастный король ослеп, оглох, теряя дар речи, еще успел проклясть всех врагов веры и отечества, и только после этого, как герой и мученик, усоп.

«А посему приказываем, требуем и по-хорошему просим — зорко приглядывайтесь, пристально прислушивайтесь и незамедлительно доносите своему господину или властям о каждом, кто злословит, недовольно кривится или сжимает кулак против закона...

За честный донос воздастся сторицей — от связки баранок до «вольной», а также предвидятся повышения по мирской и духовной службе. Трижды вечная память герою-мученику Аштаутасу! Да здравствует трижды по сто лет наследница престола светлейшая королевна Фелиция!».

Год спустя после этих событий к избе Атутисов, стоявшей на лесной опушке, подошел, опираясь на клюку, не то нищий, не то странник... Собаки у Атутисов не было, поэтому никто не мешал старику долго рассматривать сработанные когда-то умелой рукой резные ставни, деревянных белок на стенах, столбы у ворот в виде панов с горшками вместо шапок...

А когда незнакомец вошел и поздоровался, старшие

сыновья Атутиса, которым уже осточертели шпионы и любопытные, прикрикнули на старика, чтоб он нес свою бороду за дверь, за ворота и еще дальше.

Человек так бы и сделал, если бы не Йопас, который сидел во дворе и уминал свой завтрак прямо там, где плел корзины и лапти. Он махнул старику рукой, предлагая ему сыра и хлеба.

Оказалось, этот горемыка и старого Атутиса знал, и во дворце бывал. Вернее не во дворце, а под ним, поэтому, видно, старик знал больше, чем говорил. И он рассказал Швипсу и про отца, и про портрет короля.

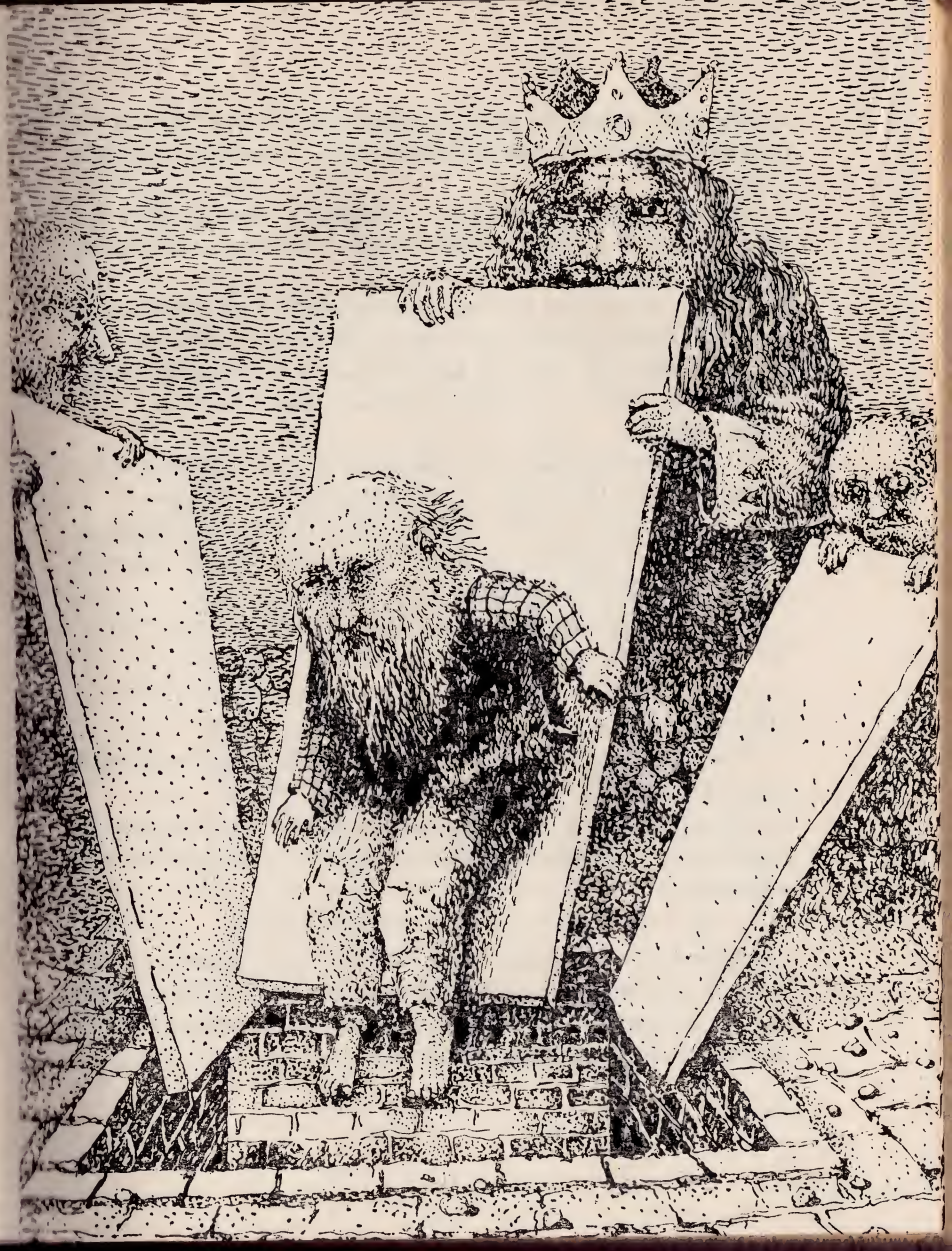
Атутис мог спастись, потому что король, увидав перед собой не художника, а голодранца, и разговаривать с ним не захотел. Приказал отправить его на конопляное поле воробьев пугать. Но Атутис сказал, что портрет уже готов.

— Готов? — изумился Конопляный, а еще больше — его слуги, привезшие Атутиса.— Ты что ж, когда-нибудь меня издали видел?

— Зачем же издали? От тебя дальше, чем на сажень не уйдешь — веревка не пустит. Смотри, король,— вот твой портрет!..

И Атутис дрожащими руками развернул свою рубаху — вместо глаз, рта и носа зияли дыры, оставленные хлыстом, вместо королевской бороды — окровавленные, заскорузлые лохмотья...

С Аштаутасом и раньше случалось, что начинал он от злости задыхаться. Вот и сейчас дыханье сперло, сунул он руку под бороду, чтобы горло растереть, но тут судорогой свело пальцы, унизанные перстнями... Пока



придворные сообразили, что случилось, пока оторвали от высочайшего горла высочайшую руку, владыка сам себя удушил.

— Вот так-то, голубчик...— старик потрепал Швипса по волосам, в которых запутались стружки, и поднялся, чтобы уйти.

— Ну, а что же стало с отцом? Куда эта рубаха девалась? Этот портрет? И откуда вы знаете про..? — Вопросы сыпались, как из дырявого мешка. Йонасу было всего тринадцать лет, и он не боялся много знать и скоро состариться.

Пока старик думал, как бы так ответить, чтоб не особенно ранить мальчонку, послышалось — цок-цок-цок! — и во двор въехал усатый-сапогатый-хлыстатый приказчик.

— Эй! — крикнул он Швипсу.— Чего этому старику надо? Что он тебе говорил?

— Говорил? Да он глухонемой, господин приказчик... Я ему, убогому, лапти подарить хочу.

— Дари, коли не жалко. Да смотри, чтобы спасибо сказал.

Швипс выбрал пару лаптей и перекинул их старику через плечо. Тот благодарно кивнул головой.

Приказчик все это время с подозрением смотрел на старика и наконец, шлепнув по голенищу хлыстом, крикнул:

— Эй, ты! Бродяга! А про спасибо забыл?!

Думал, этот горемычный обернется на окрик, может, только притворяется глухонемым. Но старик преспокойно сунул лапти в котомку и, размеренно взмахивая своей палкой, зашагал в сторону леса.

Увидев в окно всадника, старшие братья выпорхнули в одних рубашках, словно лебеди, из избы и почтительно склонились перед ним.

— Скидавáй подпругу! — гаркнул кургузый Перст Короля (так приказчик любил себя называть).— Светлейшая Фелиция повелела народу не стеснять себя веревками. Пояса, ремни и прочие кушаки — только для тех, кому по чину положено сабли или пистолеты носить.

Обрадованные мужики даже позубоскалить решились:

— А портки как же? Ведь спадут...

— К пупку клином прибей,— отрезал приказчик и, пощелкивая хлыстом по голенищу, разъяснил:

— Нынче власть считает так: чем туже подданный веревкой стянут, тем опаснее его пазуха. Бог ведает, что он там прячет — краюху хлеба или камень... А то еще пистолет или письмена крамольные. А куда ворюга прежде всего королевское-господское добро прячет? Опять же — за пазуху!

— Это точно,— согласились братья.— В штаны зерна насыпет, за пазуху — шмат сала,— и айда пузом вперед. Пойди угадай: вор он или пан-боярин.

— Вот я и советую,— перебил приказчик,— языки попридержать, рубахи выпустить. Да и жупаны-сермяги, что мужикам, что бабам неподвязанными носить. Смотрите — чтоб грош, за пазуху брошенный, тут же на земь падал!

— Грошь?! Где ж его возьмешь? — воскликнул старший, Амбразеюс, придерживая руками штаны.

— А как же с блошками прикажете? А с вошками что делать? — осклабился второй, Бенедиктас.

— Что посеешь — то пожнешь. Главное — не тужить! — внес свою лепту Дзидорюс.

И как захохочут все трое! Да еще Кастуте на крыльце — четвертая. Да еще Йонас за забором — пятый. Даже лягушки в пруду не утерпели — кукушкой закуковали.

— Что?! Насмешки?! — охаживая братьев хлыстом, вскипел Перст Короля.— Со мной, с посланником тиуна, шутки шутить! Светлейшая Фелиция по сей день смертью батюшки опечалена, аки агнец безвинный, у ножа положенный... Поэтому смеяться и хохотать всем заказано. Наистрожайше запрещено! И указ на этот случай есть: дворянам и недворянам. Кто сподобится развеселить нашу владычицу, тот по гроб жизни будет деньгами и милостями осыпан. Тогда и мы досыта нахохочемся.

— А если не сумеет кто... рассмешить-то? — петушком запел взлетевший на забор Швипс.

— Да, если не сумеет? — басом повторил Амбразеюс. Ему давно жениться пора, да с деньгами все неурожай, а ведь шутник он не из последних.

— Не сумеет? Про это в указе не сказано,— ответил приказчик, со вздохом садясь на своего гнедого. Кабы не это «если», он и сам бы не прочь поехать к Фелиции, поискать, где у нее смешинка спрятана. Но риск — не шутка. Сплоховал иной — и голова долой.

— Вот посмóтрите — я ее рассмешу! — воскликнул Швипс, когда Перст Короля скрылся за воротами.— Только не сейчас. Уж коли грозятся деньгами засыпать, так надо подрасти малость. Верно, Кастуте?

— Ну как ты ее рассмешишь? Как? — спросила сестра.

— А вот... Хотя бы так...— с этими словами Швипс

хвать горшок с забора, бросил его Амбразеюсу, второй — Бенедиктасу, третий — Дзидорюсу...

Те, хоть и размечтались об агнце безвинном, все же изловчились, поймали горшки, но со всех троих — вжик! — упали штаны.

Сестра — хохотать, Швипс — улепетывать, братья — за ним, догонять паршивца. Да где уж там... с упавшими штанами.

Глава II

ЗЕЛЕНАЯ ПТИЦА — ПОПУГАЙ

Годы ползли, ковыляли, словно нищие на престольный праздник, а королевна, если верить слухам, все еще грустила, повесив нос — ни радости, ни веселья, никакого удовольствия от такого царствования.

Поначалу охотники развеселить королевну шли косяком. Нашлись умельцы животом псалмы петь, зерно задом молоть, из ушей светлячков пускать...

Однажды явились трое умельцев: сквозь игольное ушко пролезали, из щепки могли воз дров наломать, в ложке воды ухитрялись соперника утопить.

Королевна сначала была добра — не смеялась, но и не гневалась за благие намерения. Не удалось рассмешить — и ладно... А тех троих даже полезными государству сочла, вельможами сделала. Один стал министром, другой — недоминистром, третий — министрейшим.

А Фелиция, бедняжка, все чаще и чаще мечтала посмеяться, на чудеса и диковинки поглазеть и от нетерпения стала злая, раздражительная. Закинет какой-нибудь шутник-недотёпа себе ноги на шею, а она ему:

— Вот так и красуйся, любезный, так и сиди нам на

радость. Может кто умрет — вот и для тебя местечко освободится...

Укротители тараканов, блох и сверчков развели во дворце полчища насекомых — и уж тут совсем не до веселья стало. Министры даже советовали владычице:

— Дайте, вашлость, этим блошиным командирам по роте немуштрованных солдат, бог даст, какой-нибудь блоходав в генералы выбьется.

А тем несчастным, которых господь бог подвыпив творил — кривомордым, пучеглазым, косопузым — королевна строго выговаривала:

— Ну откуда вы такие взялись? Из каких краев? В моем королевстве уродов нет! Не должно их быть в моем королевстве... Наши люди — красивые люди. И выглядят — любо-дорого, и серьезным делом заняты! А вы что? Кривлянием на хлеб зарабатываете? Ну-ну... Покажите, на что вы годны, покажите.

Где уж после таких слов шутки шутить. Тут только бы успеть на колени бухнуться да умолять:

— Смилуйся, светлейшая... Вразуми нас, всыпь батогов, а мы уж — вот крест святой — исправимся, искупим, светлейшая... Если и рассмешили кого по пути сюда, то возвращаясь, рыдать заставим. Кто смеяться посмел, теперь по-собачьи взвоет.

Всех отпугнула королевна: балагуров, шутов, уродов. Теперь она свою руку, сердце и корону обещает. А что толку? Охотников-то нет. Посулы богаче — страшней тем паче.

Время бежит, королевна злится, сохнет, ночами не спит, а не идет никто ее веселить. Что делать?

Министры, словно окорока, собственными трубками прокопченные, порешили наконец: искать шутов по всему королевству днем с огнем, как золото. Собрать всех лунатиков, чудаков, пыльным мешком стукнутых и прочих легкомысленных молодцев. Согнать, обучить их, что можно королевне говорить, чего нельзя, обтесать, по плечу похлопать — и с богом!

Как говорится, хоть и козий горох, а все ж не пустая табакерка.

— Ну чего, чего гогочешь, будто тебя заяц забодал? — прикрикнул Амбразеюс на Швипса.— Смотри, добреюсь — шепну старосте... И загонят тебя Фелицию смешить.

Впрочем, все уж было решено. Амбразеюс только совесть успокаивал, искал, к чему придраться...

Приказано было Атутисам одного брата в рекруты представить. Однако ж, кому охота до старости в солдатах трубить? Или на чужбине кровью истекать? Долго старшие братья судили, рядили, спорили, ругались и порешили, наконец, откупиться Швипсом — сдать его в королевские шуты. Все равно, дескать, он со своим языком рано или поздно попадет им под ноготь.

— А вот представь себе,— сказал Бенедиктас Швипсу,— что призвала тебя Фелиция и говорит: «Ну, Швипс весельчак ты знатный, дома целыми днями зубы скалил... А теперь нас развесели...» Что бы ты ответил?

— Я бы сказал, что дома меня братья смешат.

— Но-но-но! Ты нас не впутывай! — взвился Амброзеюс, злясь на тупую бритву, которая безбожно драла подбородок, без всякого ущерба для щетины.

— Эх, кабы королевна видела, какие Амброзеюс рожи корчит,— мечтательно вздохнул Швипс,— да еще бы знала, что Дзидорюс его бритвой вчера табак резал...

— То-то я смотрю — что за черт! — вспылил Амброзеюс. — Ну погоди, сукин кот!

Швырнув бритву на стол, он схватил кочергу и бросился во двор искать Дзидорюса. Тот хлопотал над ульем. А пчелы, надо сказать, не любят шума-гама у своего жилища.

— Дзидор! А ну подойди...— сказал Амброзеюс, остановившись в нескольких шагах от улья.— Дело есть.

Даже сквозь сито, которым было прикрыто лицо, Дзидорюс увидал, что брат настроен недобро.

— Ведь не горит,— ответил он.— Брось кочергу, добрейся, а там поговорим.

— Вот я тебя сейчас добрею! — он кочергой выворотил под яблоней кусок дёрна и швырнул его в брата.

— Бразеюс! Бразеюс! — кричал Швипс, задыхаясь от смеха.— Не трогал он твоей бритвы. Я пошутил.

Швипс хотел добавить еще что-то, но второй кусок дерна угодил прямехонько в улей, и это так разозлило пчёл, что и Швипсу и Амбразеюсу пришлось уносить ноги. Младшего пчелы не догнали. Амбразеюс, отчаянно размахивая руками, бросился к колодцу. Швипс даже испугался, не надумал ли брат утопиться. Но тот уже понял, что облиться водой не успеет, и с разбега плюхнулся головой в кадку, где вымачивалась ольховая кора — овчины красить.

На крыльце извивался от хохота Бенедиктас. Это он вчера нарезал кожаные опорки и делал это, конечно же, бритвой брата. Теперь он просто ревел от восторга, видя,

как тот поднимает из кадки бурую голову с заплывшими, как у младенца, глазами. Вот бы Фелиции на такое посмотреть!

— Бразеюс! — кричал Бенедиктас, не в силах сдержать хохот.— Езжай к Фе... Ха-ха-ха... Езжай к... Ха-ха-ха...— И тут же: — Ты что же делаешь! Собака!

Рассвирепев, Амбразеюс опрокинул кадку с этой замечательной густой краской, и теперь она разлилась по земле, грозя загадить колодец. Бенедиктас — ттрах! — выломал из забора добрый кол и бросился на буяна, которому Швипс, смеясь, но опасливо отступая, клялся, что он пошутил, что не трогал Дзидорюс бритву, не трогал.

— А кто же трогал? Ты? Ты, сатана, ее изуродовал?!

— Не я! Ей-богу, не я...— еще пытался оправдаться младший. Но разве на бегу оправдаешься?! Три раза пришлось ему обежать избу, спасаясь от Бразеюса, еще три — вокруг сарая — от Дзидорюса, а когда вдогонку бросился и Бенедиктас, Швипсу ничего не осталось, как проскользнуть в ворота и припустить в лес.

— Ничего. Вернется. Жрать захочет — как миленький придет! Получит свое,— утешали себя братья, грозя в сторону леса, один — колом, второй — кочергой, третий — дымящимся подкуром.

Понимая, какие пироги ждут его дома, Швипс решил не показываться братьям на глаза. Когда вечером Кастуте пойдет из костела, он встретит ее, расскажет, как братья из-за простой шутки даже колодец кожевенной краской загадили... И теперь, пока они не вычерпают всю воду, Швипсу возвращаться нельзя. Вот он и попросит Кастуте, чтоб она, как стемнеет, припесла ему к озеру краюху хлеба, щепотку соли и несколько угольков,

чтоб можно было раздуть костер — испечь рыбу или грибы.

Но до вечера было еще далеко, поэтому Швипс выволок из камыша старый законопаченный челнок, деревянным ковшом вычерпал воду и, стоя, отталкиваясь шестом, поплыл вдоль берега поискать никем не тронутые липы для лыка.

Челнок тихо скользил мимо камышей, так тихо, что застигнутые врасплох утки не успевали прятать своих птенцов. Швипс и не думал их пугать, он покровительственно поглядывал на утят, и на душе у него становилось тепло, уютно. Хохлатые длинноносые гагары, понявшие дружелюбие Йонаса, усадили малышей себе на спины и степенно следуя за челноком — кря-кря-кря! — что-то объясняли своим чадам.

И вот тенистая заводь, где Швипс еще не был, такая тихая, такая спокойная, что жуть брала при виде того, как шест месит облачное небо, а вокруг челна теснится перевернутый вверх ногами лес.

Пугливая косуля склонилась к воде, пьет и как будто целуется с другой косулей, живущей в перевернутом лесу... Испуганные всплеском воды, они отскакивают друг от друга и исчезают. А Йонас покачивается в утлом корыте, глядя из этого перевернутого мира, как приближается песчаный берег и еще неведомый лес.

В то время как Атутисы шумели у себя во дворе, незнакомец с заспанным лицом, прячась за деревьями и в кустах, наблюдал за Швипсом. Когда мальчик залез в челнок, незнакомец следил за ним, идя по берегу. Иногда он заходился ястребиным клекотом, чтобы другой че-

ловек, сидевший в фургоне, трогал лошадь и ехал следом по лесной дороге.

Швипс вышел на берег, и «ястреб» закричал уже иначе. Возница остановил лошадь и повесил ей на голову торбу с овсом. Между делом он вполголоса разговаривал с тем, кто, оставаясь невидимым, сидел в фургоне.

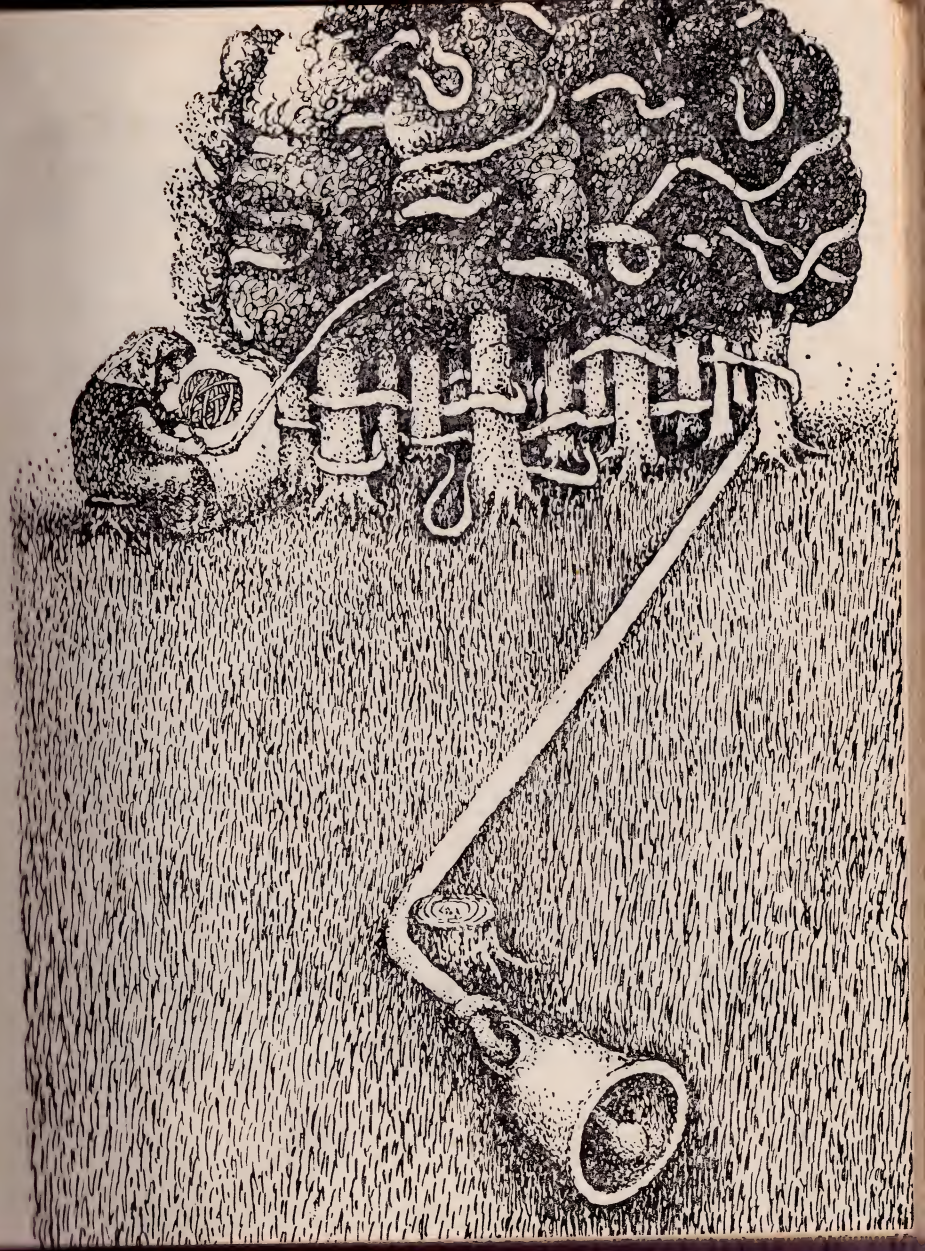
Вскоре появился незнакомец с заспанным лицом и сказал, что им везет больше, чем можно было ожидать... Челнок нужно перевернуть, подтолкнуть на середину озера, и каждому будет ясно, что парнишка утонул.

Поначалу Швипсу казалось, что в этом лесу лет сто не ступала нога человека. Однако липы, которые он увидел, взойдя на пригорок, были уже кем-то ободраны. Еще хорошо, человек был человечный... Чтоб деревья не погибли, он не раздел их догола. Там и сям вырезал по полоске и даже глиной замазал раны — оставил поправляться.

Потом Атутис долго смотрел на муравьев, поселившихся под серо-зеленым валуном. Валун был теплый, чисто вымытый и уютный, как дремлющий кот...

«А ведь обычно камни такие неряхи,— подумал Швипс,— угрюмые, неприветливые, бугристые, угловатые... Иногда от зависти ко всему живому они трескаются, потихоньку скрипят зубами и проклинают свою бесконечную тоскливую жизнь. А этому зеленобрюхому повезло. Отсюда видно озеро — красота! Кроме того, он опекает муравьев, муравьи ухаживают за лесом, а лес — это дом зверькам, птицам, даже человеку».

Йонас спустился к воде, набрал ракушек и камушков-голышей; вернувшись, сдвинул этого «дремлющего кота»



и, успокаивая потревоженных муравьев, начал складывать каменно-перламутровый дворец-лабиринт...

— Тише, тише... Не волнуйтесь... Осторожно!..— бормотал Швипс.— Сейчас привалим камень, и тогда увидите, сколько у вас будет места.

И тут он услыхал странное, чужое для леса, позвякивание: тинь-дилинь, тинь-дилинь, тинь-дилинь-тинь-тинь...

«А может так цветущий папоротник звенит?» И снова, теперь уже чуть дальше: тинь-дилинь, тинь-дилинь-тинь-тинь.

Он вскочил и, перешагивая через кусты багульника, папоротник, чернику, пустился догонять это тиньканье. И догнал. Между деревьями метался и позвякивал невиданный серебряный мышонок. Швипс попробовал накрыть его шапкой, но тот увернулся и побежал по мху дальше. Теперь была видна извивающаяся между деревьями толстая зеленоватая нить. Это к ней был привязан маленький серебряный бубенчик. Но почему он убегает? Может, не надо его пугать? Может, просто пойти вслед за ним и узнать, куда он направляется?

Бубенчик все бежал в горку, а Швипс, не отрывая от него глаз, шел следом. И вдруг видит: у можжевельника сидит сгорбленная старуха и бойко сматывает зеленую нить в клубок.

От неожиданности парнишка встал как вкопанный, а старуха подняла голову, улыбнулась из-под крючковатого носа и длинным желтым пальцем поманила его.

Йонас еще не пришел в себя от удивления и приблизится не посмел. На старухе была необычная сермяга, старая, заплата на заплате. Однако, присмотревшись, мальчик увидел, что это карманы. Из одного неспеша выполз уж, из другого на него с любопытством посматривала большая коричневая жаба.

— Так вот ты какой... Йонялис, сын Атутиса...— проскрипела старуха.

На смятой шляпе у нее сидела какая-то невиданная птица, похожая на сизоворонку.

— Здравствуй, король! — хрипло поприветствовала она Швипса и склонила перед ним голову.

— Что? — разинул рот Йонас, не понимая, спит он или наяву творятся такие чудеса.

— Да-да... Здравствуй, будущий король! — подтвердила старуха.— Как говорится, пришел ниточке конец, детка...

— А откуда вы знаете, кто я такой и что я будущий король?

— Помоги мне встать,—застонала колдунья. Швипс даже вздрогнул, ощутив холодную и костлявую, словно куриная лапа, руку.

— Вот здесь,— кивнула на клубок старуха,— все твои пути-дорожки, тропинки да стежки... Начало твое пакляное, от костры колючее. А там, дальше,— улыбнулась,— шелковая пряжа, золотом да серебром перевитая! Только смотри — не оборви! Свято следуй тому, что скажу тебе!

— Что я должен делать?

— Иди за мной,— ответила колдунья и, сбросив с клубка несколько петель, подала птице привязанный к концу нити бубенчик. Та взяла его одной лапой, схватила клювом за ушко и, мотая головой, начала позванивать.

— Возьмись за мой посох и внимательно смотри на птицу. Куда она клюв повернет, туда и отправимся.

Швипс задрал голову, сделал несколько шагов, но тут же — хоп! — наступил на подол длинной старухиной юбки, волочившейся по земле. А юбка, будто этого и ждала — вжик! — и сползла, стреножив старуху. Еще хорошо — та была одета, как луковица: заплата на заплате, платок на платке, юбка на юбке.

Швипс смутился, извинился перед колдуньей и сказал:

— Может, я пойду чуть сзади? Чтоб уж больше никакого свинства не вышло.

— Нет, детка, теперь мы по-другому сделаем,— захихикала старая.— Знаешь, из чего появляются бабочки? Видал когда-нибудь?

— Знаю... Из такой... гусеницы... из куколки, которая будто в пеленках.

— Ага! Вот сейчас из тебя и сделаем куколку,— говоря это, старуха накинула Швипсу на голову упавшую юбку, связала ее узлом на макушке, крепко скрутила на поясе и опутала его зеленой нитью, словно муху паутиной.

— Не бойся,— успокаивала она, ощупывая Швипса своими костлявыми пальцами.— Чем крепче мы тебя спеленаем, тем красивее вылупишься.

— А как же братья, Кастуте? Как они узнают, где я?

— О-о! Узнают. Сон увидят, толки услышат, а время придет — и сам объявишься. А чтоб ты не скучал, я тебе через дырочку впущу ужа. Не рвись, не кричи, а то он вокруг шеи обовьется. Ну, в путь! Пешком пойдем, ехать будем, а коль нужда — лётом полетим.

— Идут. Вставай,— шепнул возчику человек с заспанным лицом.

— Уж не к дождю ли? — зевнул тот, вставая со мха.— И не заметил, как уснул.

— А я искупаться успел, пока челнок...

— Тс-с-с! — оборвал его возчик, прислушиваясь. Бубенчик звенел где-то рядом.

Подойдя к лошади, он снял с нее уже пустую торбу, взял кнут и, сев на козлы, стал поджидать хозяйку и одураченного мальчишку, нового шута для королевны Фелиции.

Глава III

ПОМЕСТЬЕ МЕЛАНИИ

Когда рыбаки сказали, что видели в озере перевернутый челнок, братья Атутисы только переглянулись, Амбразеюс снял шапку, перекрестился и, косясь на притихших братьев, сказал:

— Вечная память нашему Швипсику. Придется пустить в озеро каравай с зажженной свечкой, может, найдем его...

Тогда уж сняли шапки и остальные. Вздохнули. А может, он и в самом деле утоп? Правда, тот заспанный говорил, что в один прекрасный день Швипс исчезнет, как сыр с полки. А братья должны будут пустить слух, что младшего задрали волки или что он по дурости своей с цыганами ушел. Главное, молчок о том, что Швипс в школе королевских шутов. И братья не спрашивали, почему. Поняли. Если Йонас не приглянется королевне, в рекруты попадет или иначе с жизнью простится, никто не должен о нем тужить и — не приведи господи! — попрекать его кончиной владычицу.

Кастуте испекла хлеб, замесив его на горьких слезах, и умоляла братьев на все пять буханок поставить по свечке и пустить их в озеро, где рыбаки нашли челнок. Люди верили, что хлеб, покачавшись на воде, остановится над тем местом, где лежит утопленник.

Братья долго чесали затылки, переглядывались. Наконец, Амбразеюс, пожалев пять таких румяных караваев, Бенедиктас, жалея сестру, а Дзидорюс за компанию — все трое потащили Кастуте к святому образу, написанному их же отцом, велели побожиться, что будет молчать, и рассказали все. Швипс скорее всего жив-здоров, только неведомо, когда и каким вернется...

Госпожа Мелания была когда-то фавориткой короля Аштаутаса или, говоря проще, его близкой подружкой. Только потом, когда владыка состарился, она потеряла его благосклонность, а после смерти короля была даже сослана в запущенное, затерянное среди лесов поместье. Здесь Мелания, говорят, породнилась с самим чертом и стала поколдовывать.

Теперь в поместье, куда она приехала после чумного года и нашла горы высохших трупов, Мелания основала тайную школу королевских шутов: ей было необходимо вернуть себе высочайшее расположение.

Йонас, замотанный в юбку, вздремнул, потом проснулся и долго слушал, как повозка тарахтит под горку, как с хлюпаньем ползет по какому-то болоту. Казалось, сам дьявол тянет эту телегу: никто не покрикивал на коня, старухи рядом вроде не было, на вопросы Швипса никто не отвечал. Он пробовал пошарить в телеге босыми ногами, но они оказались не то обернутыми холстиной, не то засунутыми в мешок.

За пазухой у Швипса мирно грелся уж, юбка колдуньи остро пахла валерьяной, и от этого запаха Атутис снова заснул.

А проснулся совсем как дома, в своей слепой каморке: ни тележного скрипа, ни птичьих голосов. Он даже подумал, что видел сон. Сейчас он встанет и всё расскажет Кастуте. Однако, повертевшись, Швипс понял, что всё еще барахтается в юбке колдуньи. Уж, видно, разыскал лазейку и уполз. А не пора ли спасаться и Швипсу?

Его ноги теперь были свободны и касались звериной шкуры, брошенной на холодный каменный пол. Интересно, стерегут его или нет?

— Эй! Развяжите! Пустите! — вскрикнул он.— Чего вы меня, как поросенка, в мешок!

Кто-то хихикнул. Голос был молодой и довольно приятный.

— По-хорошему развяжите, а то я порву эту тряпку,— уже смелее потребовал Швипс.

Голосок опять — хи-хи-хи...

Йонас втянул в себя пустой живот, кое-как протиснул между ним и путами сначала одну, потом вторую руку, поднатужился — зеленые нити — трык-трык! — и разорвались.

— Охо! — удивился всё тот же приятный, кажется, девичий голос.

Швипс сорвал с головы проклятую юбку, но ничего не увидел. Кругом было темно хоть глаз выколи.

— Эй! — опять закричал он,— есть тут кто живой?

— Есть,— ответила невидимка.

— Почему такая темень? Ведь ночи теперь светлые...

— Какие ночи? Уже утро.

— Так почему же я тебя не вижу?

— А я могу твои веснушки сосчитать.

— Где эта старая ведьма? Она меня ослепила! — испугался Швипс.

— Не смей так называть госпожу Меланию! — предупредила девушка.— Она тебя еще глухонемым сделает.

— Так кто ж она, если не ведьма? Зачем она меня заманила?!

— Радуйся, глупый. Она будет тебя учить, она может сделать тебя королем.

— Какой к черту король, если я ничего не вижу! Я и лапти сплести не могу. Ты где? Подойди...— со слезами в голосе попросил Швипс.

— Нет! Нельзя! — ответила невидимка.— Хочешь, я позову госпожу Меланию. Поклянешься свято слушаться ее — может, она и вернет тебе зрение.

Когда девушка ушла, Йонас воспрянул духом, на ощупь аккуратно сложил юбку, порванные нити смотал в клубок и, сложив всё это рядышком, нащупал вдруг звериную голову: зубастую пасть, уши, сухой шершавый нос. Он знал, что в господских домах, в гостиных или у кроватей, лежат медвежьи и волчьи шкуры с головами. Выходит — Мелания не из тех, кто живет в избе на курьих ножках. Это, пожалуй, всем ведьмам ведьма, и, как знать, может и правда, сделает его королем? А может, ослепив, отнимет еще язык, слух да выгонит? Вот тогда и ругайся, грози, размахивай кулаками, а господа будут смотреть да посмеиваться. Как сладко ржали бы братья Йонаса, прищемив бездомной собаке хвост или натянув рукавицу на голову петушка...

— Он поверил. Плачет...— сказала Мелании Ксаверия — так звали девушку.

Госпожа пришивала к старому потрепанному картузу нелепую пуговицу.

— Смешного в нем мало,— пробормотала она, откладывая картуз в сторону.— Попробую сделать из него невидимку.

Ксаверия не спросила, каким образом — Мелания все равно бы не ответила: со временем ясно будет. А вот как колдунья вернет парню зрение, Ксаверия уже знала.

Госпожа взяла горшок и деревянную ложку, девушка, не дожидаясь приказа, сняла башмаки, чтоб не стучали, и обе отправились в комнату пленника, закрывая за собой все двери, чтобы ни один луч света не пробрался следом.

— Это кто же позволил тебе сбросить мою волшебную юбку?! — воскликнула Мелания, подойдя к Швипсу.

Ксаверия тем временем осторожно кралась вдоль стены к завешенному черным сукном окну.

— Я понял, что мы приехали — вот и сбросил,— мирно ответил Швипс, узнав голос колдуньи.— Но если надо, я могу опять...

— Нет, детка, теперь придется иначе...— перебила Мелания.— Но сначала обещай, что будешь меня слушаться.

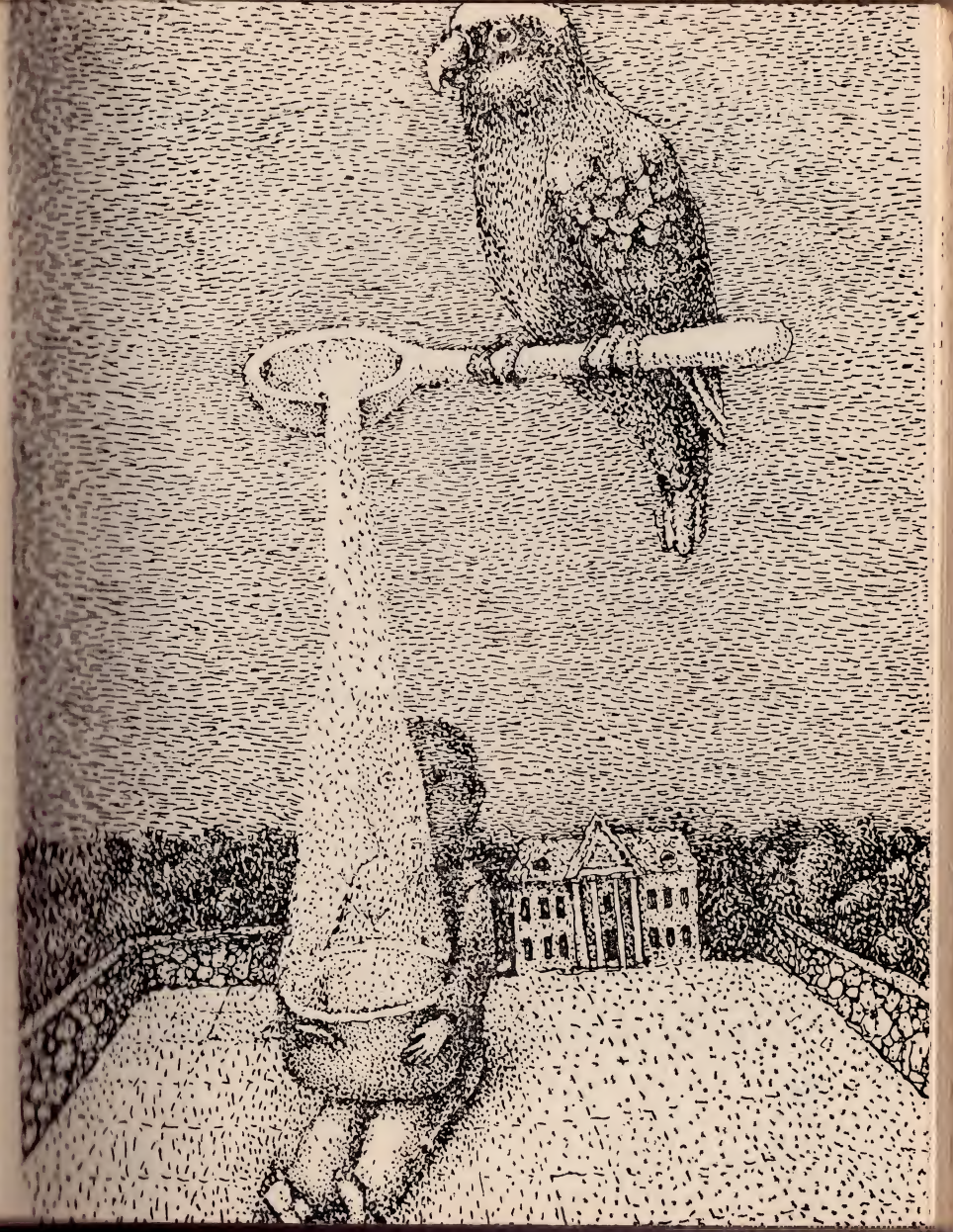
— Буду.

— А прозревши, не станешь совать нос не в свое дело.

— Не буду.

— Встань на колени и поклянись, что никогда никому не расскажешь ни как ослеп, ни как прозрел — никому на свете!

— Клянусь! Никому...



— И других не будешь ни о чем расспрашивать. Обещаешь?

— Обещаю.

Мелания надела коленопреклоненному Швипсу горшок на голову и принялась барабанить по нему ложкой, чтоб тот не слышал, как Ксаверия снимает занавеску с окна, как крадется обратно за дверь.

Кончив колдовать, госпожа Мелания сняла горшок, и вдруг «прозревший» Швипс увидел новое чудо: у колдуньи уже не было крючковатого носа, зубов во рту, что гороха в стручке, и платье совсем не то — кружева, пуговички, сверху облегает, внизу колоколом. Попугай, сидевший на плече, выпустил из клюва красную сережку хозяйки и снова поклонился Атутису:

— Здравствуй, король!

— Здравствуй,— ответил Швипс...

— Ну как? Просветлело в глазах? — улыбнулась Мелания.

— Ага,— он кивнул, пытаясь перемолоть эти чудеса, которые все сыпались и сыпались на него.

— Вот здесь,— госпожа показала на деревянную кадку,—умоешься, на кровати одежда — оденешься, а там на столике найдешь еду.

— Спасибо.

— А что понадобится,— обернулась она уже в дверях,— возьми молоточек и ударь этого быка меж рогов.

Над дверью, в которую вышла Мелания, висела медная бычья голова. Через стеклянные глаза оттуда, из-за стены, проглядывалась вся комната. Снаружи окно закрывал железный плющ. Поглядывая сквозь него, Швипс вскоре увидал, как во двор, поскрипывая на рессорах, въехала

нарядная карета, запряженная двумя каурыми рысаками. На козлах, распушив бороду, восседал кучер в высокой шляпе с павлиньим пером, а за окнами кареты белели лица каких-то господ.

Нежданными гостями Мелании были королевские шутоловы: господин Пуйпа и господин Пополамий. Они разъезжали по лицеям, поместьям, приходским ксендзам и школам, подобным этой, выискивали шутов, достойных предстать перед Фелицией. В конце концов, пусть она и не закипит от смеха, но несколько пузырьков все же поднимутся от сердца, как со дна кастрюли.

Столько же веселья доставили в свое время королевне и Пуйпа с Пополамием. Первый, тогда уже разменявший четвертый десяток, оставался безбородым, краснощеким, пухленьким, как годовалый ребенок. Даже голова, покрытая редким пушком, казалась мягкой, будто из теста, глазки голубые, глупые — словом, быть такому либо господином, либо шутом — дельный человек из него не выйдет.

Поэтому Пуйпа явился перед светлейшей в одной рубашке, босиком, с соской из овчинки во рту, словно великаний подкидыш, крича: «Мама, ням-ням-ням!»

Второй, Пополамий, не столько смешил, сколько поражал своим лицом и телом, склеенными из двух разных половинок: одной щекой, глазом и ноздрей мог улыбаться, а другой стороной лица изображал страшный гнев или отчаяние. Он умел дуть в две дудки, извлекая разные мелодии, одной рукой подавал грош, а другой успевал срезать кошелек.

Представ перед королевной, Пополамий написал одновременно два письма: левой рукой — другу, а правой —

врагу, желая ему удавиться. Говорят, владычица не на шутку испугалась и запретила ему оставаться в замке. Обоих — и Пополамия, и Пуйпу — произвела в шутоловы и отправила подальше.

Взволнованная приездом гостей, Мелания приказала кухарке испечь индюшку с брусникой и, созвав своих подручных, сказала, что после обеда начнется экзамен шутов. Пусть Еронимас (человек с заспанным лицом) подбодрит Гервазаса и Пранцишкуса, а возница Йокимас — смажет телегу и накормит лошадей: похоже, утром придется везти парней во дворец.

Когда все разошлись, колдунья несколько раз повторила вслух: «Что же еще? Что же еще?» — и, увидав Ксаверию, вспомнила:

— Чего молчишь? Идем, я тебя приукрашу.

В просторном зале, где Мелания принимала гостей, в роскошной золоченой, словно алтарь, раме висел большой портрет Фелиции с дырами вместо лица и рук. За портретом была ниша, в нише — скамеечка, и Ксаверия, усевшись там, очень оживляла королевский образ. Да, никто во всем королевстве не мог проявить такой изобретательности, выражая Фелиции свою преданность и любовь!

— Жалко мне Пранялиса,— вздохнула Ксаверия в то время, как Мелания румянила и пудрила ей лицо.— И Гервазаса жаль. Такие несмешные оба. Пропадут они там, пропадут.

— Помолчи! Закрой рот,— строго сказала Мелания воспитаннице и стала красить ей губы.— Я тоже не бессердечная! Мне и королевну жалко, и учеников своих

жалко. Только себя пожалеть некогда. На, рукава надень и ступай.

Ксаверия натянула атласные, шитые золотом рукава, унизала пальцы фальшивыми перстнями и, взяв королевский скипетр, вышла. Пока госпожа собирала краски, лицо девушки уже показалось в портрете Фелиции.

— А я уже здесь,— защебетала она.— Так хорошо?

— Замечательно! — похвалила Мелания.— Век бы такой красавице служила. Ну, не подведи. И не вздумай мух отгонять. Сколько могла — перебила. Если и сядет какая, терпи — не съест. Не каждый день такие господа... заешь их черти! Было время — такие хлыщи пыльные башмаки мне целовали... Так... Что еще? Что еще?

Глава IV

ЭКЗАМЕН

Мелания позвонила в колокольчик. Вечно заспанный Еронимас подтолкнул Пранцишкуса к дверям залы и пообещал держать в кармане кукиш на счастье.

Перед экзаменаторами стоял здоровенный детина с жёсткими, зачесанными назад волосами, вспотевший от волнения. На широком лице блестели маленькие глубоко посаженные глазки; они лучились таким желанием угодить всем и каждому, что уже за это хотелось его приласкать.

— Здравствуй, король! — нарушил молчание попугай, повергая в изумление Пуйпу и Пополамия.

— Ну, Пранас, подойди, подойди,— ободряюще замурлыкала Мелания,— не смущайся, вынь руки из карманов. Дыши глубже. Вот так. Можешь говорить?

— Всегда! — хриплым от волнения голосом отозвался детина.

— Как вы его назвали? — спросил Пополамий, доставая из кожаной сумки пергамент, чернила, несколько гусиных перьев и пепел — присыпать написанное.

— Пранас Профанас, крещён как Пранцишкус, а Профанаса здесь заработал.

Тут парень откашлялся и, желая показать, что больше не волнуется, спросил:

— Госпожа-сударыня, а что такое — Профанас?

— Вот те на! Что это ты? — смутилась Мелания.

— Профан, юноша,— разъяснил Пополамий,— это... ну... что-то вроде профессора. Знаешь, что такое профессор?

— Профессор? О! Это большой господин! — вставил Пуйпа.

— А Свечка говорит, что профан — это дурак,— доложил Пранцишкус.

— Оставим, Пранас. С Гервазасом мы поговорим,— пообещала Мелания.— А теперь соберись и покажи, что мы умеем. Учти, после этого испытания тебя, возможно, пригласят во дворец!

Пранас-Профанас сверкнул маленькими глазками и, до смерти перепугав почтенных шутоловов, бросился целовать руку госпоже.

— Потом, Пранялис, потом. Такой богатырь. Ты столы опрокинешь. Вот пожалуйста. Вино расплескал. Гостей облил... Имей в виду: не я, а эти господа решают, на что ты годен.

Пранцишкус, со всем соглашаясь, кивнул головой и еще преданнее заморгал господам.

— Так... еще раз вздохни... выдохни. Сначала подними эту гирю, а потом — ту, и под конец — обе, разом!

— Минутку, я должен записать,— встрял Пополамий.— Сколько же весят эти гири?

— Пранялис, сколько?

— Эта — три пуда, эта — четыре, ваша милость,— ответил тот и указал на выбитые на гирях цифры.— Только вот не знаю... совладаю ли,— засомневался Пранас, с тревогой глядя на Меланию.— И бороды нет, чтоб руки вытереть...

— Бороды? Какой бороды? Зачем? — половиной лица изобразил удивление Пополамий.

Мелания что-то шепнула ему и ободряюще взглянула на ученика. Тот выдавил из себя глухое «гоп!» и, словно арбуз, вскинул над головой трехпудовую гирю.

— Не дрожи, не дрожи! Как свечка стой, прямо.

Услыхав господское одобрение «браво, браво»,— Пранас опустил гирю, шумно выдохнул и, как кот на сверчка, глянул на гирю в четыре пуда.

Пока он ворочал эти чушки и перекидывал их из руки в руку, хозяйка успела разъяснить гостям, что на самом деле каждая гиря весит не больше каравая. Разве не смешно получится, когда Профанас начнет перед Фелицией вот так пыхтеть, размахивать руками, тужиться, а настоящая гиря — ни с места!

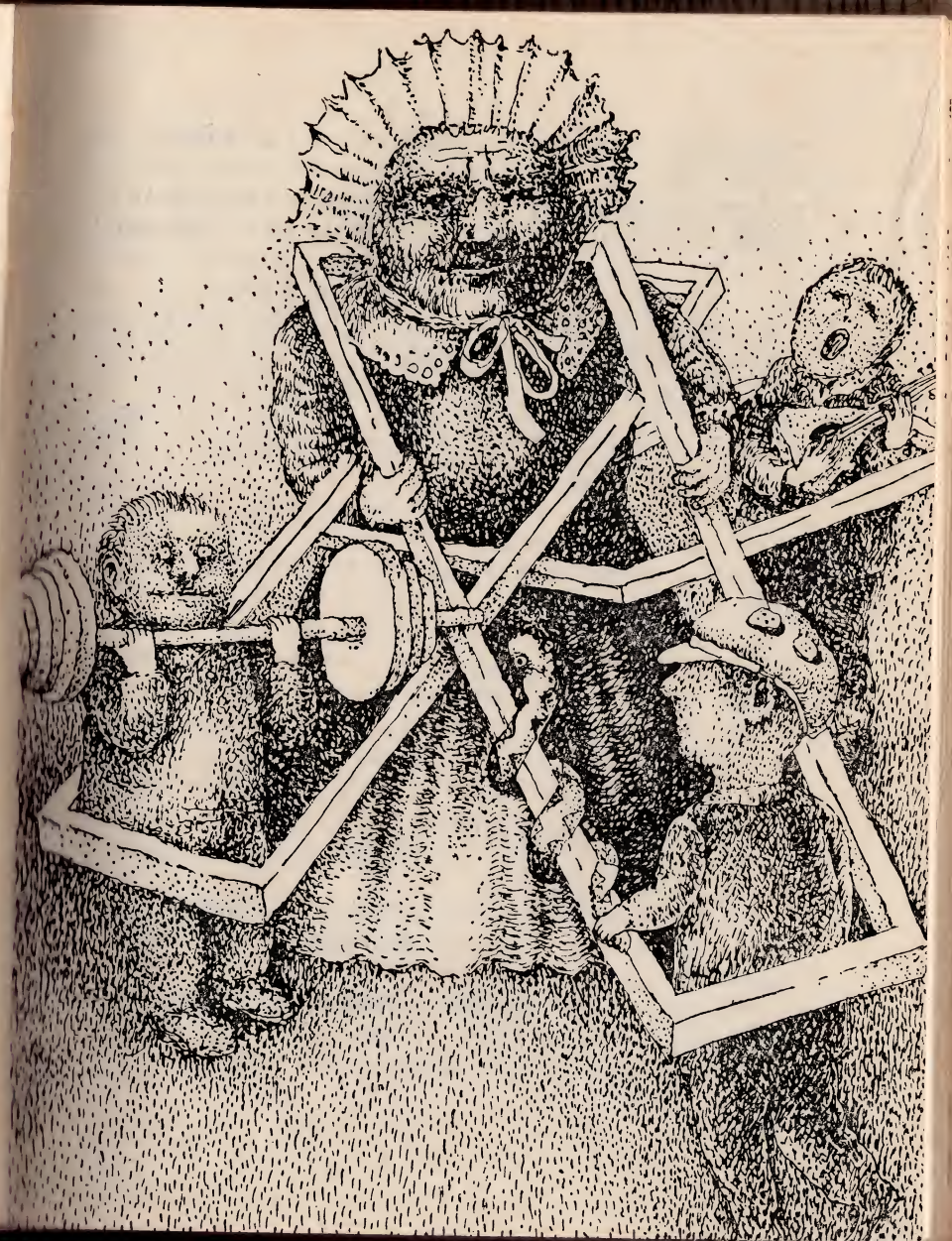
— Браво! Браво! — похвалил Пополамий не то Меланию, не то Пранаса, а раскрасневшийся Пуйпа даже взвизгнул:

— Какие могут быть сомнения?! Сейчас же к владычице! Сегодня же во дворец!

— Он так искренне верит в свою силу,— ехидно радовался Пополамий.— Настоящий профан! Настоящий!

— Здравствуй, король! — закричал попугай, встревоженный этим шумом.

— Подойди, Пранялис,— сказала Мелания.— Я хочу дать тебе маслину с дерева осины. Когда придет время



светлейшей показаться, проглоти ее — и смело берись за любую тяжесть. Но не забудь сначала подышать животом и вытереть руки о первую же попавшуюся бороду. И не робей. Пусть только посмеет кто-нибудь тебя оттолкнуть!

— Знаю, сударыня, знаю... Век не забуду.

— Ну, коли так — собирайся. Завтра в дорогу.

Пранцишкус вычурно поклонился и, пунцовый от волнения, рысцой помчался к выходу.

— Кхе-кхе-кхе...— господин Пуйпа никак не мог насмеяться, представляя, как Пранас-Профанас подойдет к министрейшему и, не сказав ни здравствуй, ни прощай, вытрет руки о его холеную бороду.

Пополамий пнул Пуйпу сапогом, чтобы тот успокоился, и, подняв бокал, спросил:

— Ну, а второй чем порадует? Под каким именем пойдет?

— Крещен Гервазасом, а мы его Свечкой назвали,— ответила Мелания.— Красивый, стройный, цыганёнок. Стихи сочиняет, сам играть пробует. Сейчас увидите.

Позвонила. Уже из другой двери появился миловидный кудрявый паренек. Он шел, не глядя на господ, продолжая настраивать инструмент собственного изготовления, который смахивал на балалайку.

— Здравствуй, король! — привычно крикнул попугай, перебирая клювом перья.

— Как же! — пробормотал Свечка, сдержанно поклонился господам и улыбнулся Ксаверии, смотрящей с королевского портрета.

— Раньше этот портрет заставлял тебя здороваться полюбезнее,— нахмурилась Мелания.— Ну, песню, Гервазас! Песню!

— Простите, господа. Сегодня у меня голоса — ну, напрочь нет.

Впрочем, голоса у него никогда не было. А тут еще возраст такой — молодой петушок, да и только! Петь еще не умеет, а пищать уже не может.

— Вот что, положи эту балалайку и спой во всё горло! — требовала хозяйка.— О соловьях, о лягушках. Учти, в следующий раз петь придется перед нашей владычицей. У него очаровательный голосок! — колдунья умела сказать так, чтобы гости поняли одно, а ученик — другое.— Ну, Свечка, вспыхни. Как я тебя учила. Главное — животом дыши.

— Нет, о соловьях не получится.

— А ты не торгуйся, не торгуйся. И-и, три-четыре!

— О королева! О добродетельная! — заблеял цыганенок, словно баран, которого стригут.

— Руками работай, руками! — командовала Мелания,— как будто тонешь!

— Я поахаю да песню затяну,
Как лягушки ква-ква-квакают в пруду...

Свечка «вспыхнул», он с чувством квакал, подёргивался, размахивал руками и дышал животом.

— Чтой-то, сестры, мы болеем да худеем,
От тоски зеленой зеленеем,
Все становимся угрюмее и злее.
Не избрать ли короля повеселее?

— Что?! — вскинули брови оба экзаменатора.

— Да вы не волнуйтесь, вы дослушайте,— засуетилась Мелания.— Они сейчас аиста королем выберут.

— Нет-нет, достаточно. Уже понятно...— настаивал Пополамий.

— Не знаю,— господин Пуйпа вопросительно взглянул на Меланию,— по-моему, абсолютно не смешно.

— Ничего-ничего. Вот я ему сейчас яйцо райской птицы дам. На, Свечка, возьми. Как явишься королевне петь, выпей это яйцо и сразу — о соловьях.

— Да,— согласился Пуйпа.— Лягушки — это, сами понимаете, скользко...

Недовольный Пополамий продолжал мотать головой. А тут еще цыганенок возьми да ляпни:

— Только, если я королевну рассмешу, я на ней всё равно не женюсь...

— Это почему же?! — вытаращили глаза оба господина.

— Да я уж выбрал, — Гервазас опять улыбнулся Ксаверии,— госпожа Мелания, конечно, догадывается. Но сказать-то я должен.

Экзаменаторы взглянули на портрет и даже рты разинули: ожившая владычина грозила цыганенку скипетром и постукивала себя пальцем по лбу.

Побледневшая Мелания не знала, удариться ей в слезы или вцепиться в кудри этому наглецу.

— Ах, вот ты как! — закричала она.— Кормишь, одеваешь, душу отдаешь, а он, цыганское отродье, при гостях нашу светлость оскорбляет!

— А вот это, я бы сказал, уже смешно,— блеснул мудростью и властью Пополамий.— Развеселишь королевну,— обратился он к Свечке,— сватайся к кому хочешь. А пока — собирайся. Поедешь.

— Не знаю, не знаю,— пощупал свое мягкое темя Пуйпа,— так бы и я спел.

— Но у него совершенно нет голоса! — почти обиженно вскрикнула Мелания.— То-то и смешно!

— Да, но он поет,— упрямился Пуйпа.— Я бы сказал, вполне... вполне сносно.

— Смешнее всего, что цыган отказывается от королевны.

— Кстати, это вряд ли понравится светлейшей.

— А по-твоему, Фелиции больше понравится, если цыган к ней сватов зашлет? Другое дело, чтоб кто-то пришел и сказал королевне: «Не хочу тебя в жены!» — вот такого еще не было.

— Ну ладно,— согласился Пуйпа,— с этим покончим. Давайте третьего.

— Какого третьего? — изумилась Мелания.— Третий, господа, зеленый совсем. Прошлой ночью только привезли.

— Но вам, сударыня, заплачено за троих, не так ли? — въедливо заскрипел Пуйпа.— За отлов, за доставку, за обучение — за все.

— Королевна любит троицу,— мирно промычал Пополамий, поднимая бокал.

— Парами дарят только голубей да кроликов, сударыня.

Мелания сердито засопела, жалея, что не может превратить этих господ в боровов и выгнать в лес волкам на радость. Она покомкала свой платок и наконец сказала, что этого зеленого, третьего, хочет сделать невидимым.

— Невидимым? То есть как, невидимым?

— Чего же проще! Вы не будете видеть, я не буду видеть, он и поверит, что его не видно.

— Ага,— закивали экзаменаторы, ничего не поняв.

Мелания принесла картуз, к которому давеча пришивала пуговицы.

— Вот,— показала она гостям,— это и будет шапка-невидимка.

— Погодите-погодите,— засомневался Пополамий.— Ведь если этот парень станет невидимым...

— Так мы его не увидим как своих ушей! — отрубил Пуйпа.

— Увидим, все увидим,— успокоила хозяйка,— мы только говорить будем, что не видим. Понятно, господа?

Господам было непонятно, но они снова закивали. Мелания позвонила в колокольчик и приказала Еронимасу привести Атутиса.

Глава V

КАПЛЯ В МОРЕ, ВЕТЕР В ПОЛЕ...

Во сне Швипс частенько наедался до отвала или вдруг оказывался обутым в башмаки. Шагнет раз, другой — они, словно черные утята — кря-кря-кря...

Так бы и ходил до утра — красовался! Перед братьями, перед соседями! Ан нет! Заслушаешься этим кряканьем, что слаще соловьиного пения, плюх! — и вляпаешься в грязь или в коровью лепёшку. Сердечко — скок! — словно заяц из-под куста — и кончен праздник.

А вот теперь сон затянулся. Чувствует Швипс, пора просыпаться, уж сам не верит, посмеивается над тем, что снится, ждет: вот-вот кто-нибудь из братьев гаркнет в ухо: «Эй, Швипс! Вставай! Бока пролежишь!».

Жаль, конечно, в таком прекрасном сне быть Фомой неверующим. Куда приятнее спать, не зная, что это сон, спокойнее. Но Швипс знает, и поэтому даже скрип башмаков какой-то невеселый.

Башмаки, что лежали под кроватью, хоть и красивые, но уже неновые. Сюртучок суконный, но уже поношенный.

А все из-за сомнений: там приглядишься, там прощупаешь, там понюхаешь! А вот борщ, хоть и остывший,

показался ему вкусным, да еще с серым пеклеванным хлебом!

Пора, пора просыпаться! Не забыть бы только про говорящую птицу, про бубенчик на зеленой нити, с которого начался дивный сон. Может Кастуте растолкует его Швипсу.

«Сейчас, наверно, луна светит»,— рассуждал пленник в барской одежде.— А в полнолуние, говорят, люди во сне в одной рубахе встают, запрягают коня и едут себе, закрыв глаза, улыбаясь, все вокруг какие-то чудеса видят.

Иной раз за ночь столько всего привидится, да так ясно, что потом долго-долго думаешь, гадаешь — сон это был или явь. Вот и теперь — не в полнолуние ли Швипс едет в повозке со спящим возницей в холщовой, розгами иссеченной рубахе? И куда трусит пегая лошадка, удила которой даже во сне кажутся сочной морковкой? И едут, едут они, все трое, под скрип колес. Все ближе, ближе сверкающий освещенными окнами замок праведного короля, где в эту ночь ждут их распахнутые ворота, опущенные мосты, а у дверей — мирно настроенные лакеи.

Но слышны шаги, кто-то из братьев пришел будить Швипса, и сон вот-вот рассеется.

Вошел тот самый — заспанный.

— Пошли,— гаркнул он Йонасу и как-то зло хихикнул.

«Нет, этот уж точно не ищет праведного короля»,— подумал Швипс и вдруг почувствовал, что его башмаки в грязи по самую лодыжку.

— А вот и наш Йонялис... Швипс,— представила его Мелания.— Богом одаренный: веселый, бодрый, умный. Да

я одарю его, и помяните, господа, мое слово — этот паренек рассмешит королевну!

Пополамий, наморщив половину лица, ковырял в ухе гусиным пером. Вспотевший Пуйпа степенно потягивал вино. Швипсу они не понравились. «Если вокруг Фелиции только такие рожи да мешки с мякиной,— подумал он,— как же ей не горевать. С этими не порадуешься, в снежки не поиграешь, на качелях не покачаешься...»

— Как же я ее — не родня, не сосед — бац! — и рассмешу? — искренне встревожился Швипс.

— Ну не рассмешишь, так хоть порадуешь, удивишь, вроде друга будешь,— ответила Мелания.— Я тебе шапку дам. Наденешь — станешь невидимым. А там уж смекай, какую шутку выкинуть. Как решишь, так и развлекай владычицу.

— В этом-то картузе? Невидимым? — усомнился Йонас и тут же натянул его на самые уши.

— Погоди,— Мелания сняла с него картуз.— Это не так-то просто.— Она подняла его над головой и принялась крутить на указательном пальце, приговаривая:

Картуз мой заколдованный,
Волшебный, зачарованный,
На уши надвину —
Исчезну, сгину,
Как капля в море.
Как ветер в поле,
Меня не видать —
Попробуй поймать!

Запомнил? — колдунья протянула картуз Швипсу,— попробуй.

Тот повторил заклинание, словно молитву, нахлобучил картуз на голову и будто бы ожил. Перед экзаменаторами стоял мальчишка такой, каким он был дома, когда ему хотелось попроказничать и раздразнить братьев. Мелания уже в третий раз шепнула гостям:

— Потерпите, господа. Что бы он ни делал, именем Фелиции прошу, ничего не замечайте.

Атутис проворно огляделся — что бы такое учудить? Вдоль стены полз знакомый ему уж. Он подхватил его и осторожно, чуть поскрипывая башмаками, стал подбираться к столу, рассчитывая сунуть ужа в господский карман.

Предчувствуя, что шутоловы от такой проказы в восторг не придут, Мелания кашлянула и предостерегающе заговорила:

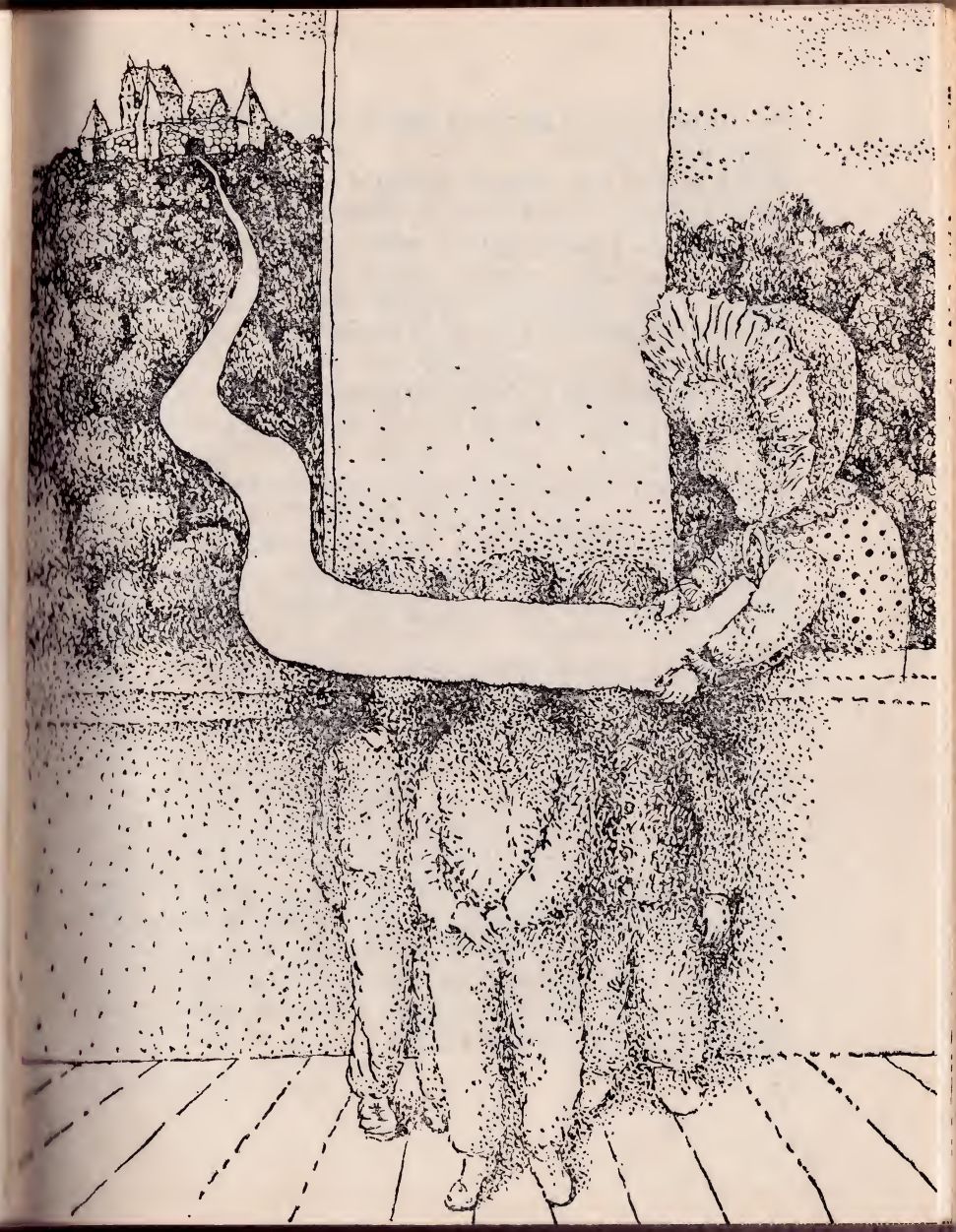
— Слышим шаги, слышим.

Ах, вот как? Ладно. Йонас сунул ужа за пазуху и стал разуваться. Но пока он снимал башмаки, уж изловчился — и был таков. Швипс — ловить его.

Вдруг слышит — под потолком кто-то прыснул. Поднял глаза на портрет Фелиции, смотрит, а ему такое милое личико улыбается, аж тепло на сердце стало. Забыв про всё на свете, Йонас снял картуз и помахал им живому портрету.

— А-а! Вот он где! — обрадовалась Мелания.— А мы уже волнуемся, куда ты подевался. Боялись, из-под стола пугать начнешь, или ужа за воротник пустишь. К счастью, перед этим портретом многие цепенеют.

— Ну, а если он оцепенеет перед настоящей королевной? — насторожено шепнул Пополамий.



— Если он и там вздумает ужа или жабу подсунуть? — продолжил Пуйпа.

— Слыхал, что говорят господа? — обратилась Мелания к Швипсу.— По дороге во дворец подумай, заранее прикинь, что будешь делать невидимым. Смотри, здесь было пришито семь пуговиц. Надел картуз — одну пуговицу должен оторвать... Теперь всего одна осталась. Значит, запомни — у тебя будет только одна-единственная возможность стать невидимым.

— И чтоб никакого свинства перед владычицей! — благосклонно взвизгнул Пуйпа.— Эх, будь я помоложе, да еще невидимым!

Но что бы он в таком случае сделал, Пуйпа не сказал, наверно, не придумал. Мелания велела Швипсу хорошенько спрятать чудо-шапку и никому не хвастаться. Тот кивнул, еще раз взглянул на портрет и, покраснев, опустил глаза: на этот раз девушка ему явно улыбнулась.

Утром, плотно позавтракав, шутоловы и Мелания благословили парней в дорогу.

Пранаса Профанаса назначили старшим — он вез выданную парням грамоту. Ему первому Мелания завязала глаза, что-то шепнула на ухо, поцеловала и, словно конопляный сноп, перетянула верёвкой, чтоб поводырю было сподручней его вести. Как они прибыли сюда, не видя, куда их ведут или везут, так, ничего не видя, и уйдут теперь. (Мелания побаивалась, как бы они не нашли обратной дороги да не подпустили ей красного петуха.)

— Один из них твой смертельный враг. Берегись! — услышал Йонас шепот колдуньи, когда она завязала ему глаза и наклонилась поцеловать.

— Который? — тихо спросил он, но ответа не получил.

Когда все трое были упакованы, завязаны, расцелованы, господа шутоловы построили их в шеренгу и начали «вдувать» в них хорошее настроение, отдающее кислым винным перегаром.

Пуйпа:

— Как я вам завидую! Как завидую! Ах, будь я помоложе, будь я на вашем месте... С такими подарками, такие очаровательные, ах! ах!

Пополамий, захмелевший, сам себя не понимая:

— В воде не горите, в огне не тони́те, и, как говорят, из овцы — корова, из свиньи — кобыла...

— Здравствуй, король! Здравствуй, король! — не отставал попугай, прочищая клюв.

— Вот и пришел ваш час, детки,— растрогалась Мелания.— Мы провожаем вас в путь-дорогу, которая ведет к престолу светлейшей Фелиции. Покажите, на что вы способны, развеселите, утешьте нашу владычицу. И я уверена: один из вас будет — очень скоро будет! — нашим королем. А теперь кланяюсь вам всем.

Но не поклонилась — вспомнила, что глаза у парней завязаны.

— Как я вам завидую!

— В огне не тоните, в болоте не горите...

— Здравствуй, король! Здравствуй...

Еронимас, угощавший вчера допоздна гостей, на заре простился с женой, собрал концы веревок, которыми были скручены парни, и, злобно посапывая, вывел их во двор. Ему так хотелось спать, что, даже споткнувшись о порог, он не смог выругаться: не было сил. Только рот раскроет — зевок — уа-а! — пасть распооткрывает, как дверь сарая.

— Поднимайте ноги! — еле промямлил Еронимас, чтоб парни не цеплялись за высокие пороги. А сам сколько раз перешагивал, столько раз спотыкался, пока не добрался до своего фургона.

Заменить Еронимаса Мелании было некем. Кучер Йокимас с ночи надрызгался и теперь валялся в сарае, словно мешок с песком. Напрасно Еронимас, получив у хозяйки разрешение, и так и сяк охаживал его батогом — еще больше из сил выбился. Срывая зло на лошади, Еронимас хлестнул ее, и повозка с тремя «слепыми» воспитанниками Мелании загрохотала по мощенному камнем двору.

А когда грохот стих и повозка вкатилась в лес, из-за дерева выпорхнула девушка с узелком в руке. В один миг она догнала фургон и ужом скользнула под навес. Если она и задела кого-то из парней в поисках места, никто не обратил на это внимания — подумаешь, ворочается попутчик, хочет устроиться по-королевски.

Кому могло придти в голову, что в их повозку прыгнет воспитанница Мелании, Ксаверия! Перед завязанными глазами Швипса все еще стояла ее милая улыбка с портрета. Придется ли еще увидеть эту прекрасную таинственную девушку?

А Ксаверия сидела рядышком! Это она наугощала кучера, прихватила кое-что со стола господ шутоловов, собрала в узелок свои пожитки, еще вчера решив спасти трех одураченных Меланией мальчишек. Теперь осталось выждать, когда уснет смертельно уставший Еронимас. Госпожа Мелания занята гостями и нескоро хватится ее, и все получится примерно так, как она задумала, сидя за портретом.

Глава VI

ПОБЕГ

Ехали молча. Мысли у всех рассеялись как пчелиный рой, оставшийся без матки: кто-то жужжит о новом дупле на цветущих липах, кто-то, обессилев, еле-еле копошится в земле. Пранасу не давал покоя вопрос, который он не посмел задать Меланье: если она так уверена, что он, Пранас Профанас, со своей силушкой да еще с чудо-маслиной очарует королевну, так какого же дьявола отправляет вместе с ним Свечку и этого новенького... как его? Шлипс или Шнипс? Да еще нашептывает, что одного из них надо опасаться. Дескать, ни тому, ни другому ни силы своей, ни маслины не показывай.

А может они едут, чтоб Фелиции было проще выбирать? Скажем, Гервазас что-то споет, этот... Шнипс или Шлипс спляшет. А уж когда Профанас себя покажет, тут и сомнений не будет, кому первенство отдать.

Скорей всего так и есть. А если не так?

Свечка, как большинство цыган, был суеверен. Он всегда побаивался, что эти песни отольются ему горькими слезами. Так ему и разум подсказывал, так ему и по ночам снилось, да и слышать приходилось краем уха, что у

Фелиции таких шутов было хоть пруд пруди. А куда же все они подевались?

Но именно из-за недобрых предчувствий Гервазас и не унывал. Старики-цыгане говорят, да и сам он не раз убеждался: пойдешь по ягоды — наткнешься на грибы, соберешься за грибами — найдешь орехи, захватишь торбу для орехов — тут дупло с мёдом.

Словом, Свечка ждет слез, но их может и не быть. Очень ему приглянулась воспитанница Мелании, а жениться, чего доброго, придется на королевне.

Швипс вспомнил, как лихо отец «написал» портрет Аштаутаса. А может батюшка жив еще? Может, сидит себе где-то в темнице да ждет, когда сыновья придут, освободят его? И если уж Йонасу вправду суждено королевну рассмешить и стать королем, он знает, что делать. Освободил бы таких, как батюшка, запретил бы батоги да розги, господам бы строго сказал, что хороший хозяин даже скотину не бьет. Чем больше любить ее, чем чаще поглаживать, тем больше пользы от нее и отрады для сердца.

Ах, если б не та благодарность, которую Швипс питал к Мелании, подарившей ему чудесный картуз, он бы давно сделался невидимым и начал наводить свой порядок. Хлыст обернулся бы против обидчика, богач, пиявка разбухшая, и не заметил бы, как полегчал его сундук, а бедняк проснулся б на заре да нашел в лапте горсть золотых.

— Слышь-ко, братцы! — прервал его мысли Свечка.— Мы ж тут все свои. Давайте глаза развяжем!

— Но-но-но! Не сметь! — важно прикрикнул Пранцишкус.— Кто завязал, тот и развяжет, когда время придет.

— Ладно, Пранялис. Вот ты и сиди с мешком на голове, как лошадь... чтобы заяц не напугал.

— Что? Это я заяц?

— Не-е-ет, какой ты заяц! Ты лошадь.

— Лошадь? Почему?

— А-а! Не бери в голову. Спи, Пранялис. Мы тебе мешать не будем.

— Но я должен знать, что вы там делаете! Я ведь старший над вами!

Сквозь дырку в брезенте Ксаверия взглянула на возницу. Курит. Очутившись в лесу, ожил, словно кот в конопле... Конец веревки, опутавшей парней, Еронимас привязал к ноге. Начнут они сейчас ругаться, дергаться — Еронимас почувствует, заглянет в повозку да увидит Ксаверию. Она вынула из своего узелка нож, перерезала веревку и привязала к тележной стойке: привязала Еронимаса к повозке.

— Ты, старший,— заговорил Швипс.— Ты нам пример должен показывать — не смей повязку снимать.

— И вы не смейте! Я Еронимасу скажу.

— Но мы ведь должны посмотреть, как ты нам пример показываешь! — подковырнул Пранаса цыганенок.

— Я-то показываю,— уверял тот.— Можешь пощупать.

Свечка пошарил руками, не понимая, как они тут сидят. Пранас развалился рядом, новичок, судя по голосу — напротив. А откуда же тут четвертый?

Он уже открыл было рот, чтобы удивиться вслух, но Ксаверия приложила к его губам ладонь и шепнула:

— Молчи! Это я,— она сняла повязку с его глаз.

— Ты чего шипишь? Что ты делаешь? — забеспокоился Профанас.

— Ничего,— откликнулся Свечка недрогнувшим голосом,— балалайку ищу.

Чтобы никто не слышал Ксаверию, он начал перебирать струны и вдруг весело запел:

Едет с нами чудо Пранас
Удивительный Профанас.
Сви-ней уже пас,
Теперь пасет нас.
Ой люли, теперь пасет нас.

— Кто не пас свиней, тот и господином не станет,— огрызнулся Пранцишкус.— А про себя что хорошенькое споешь?

— Про себя? Могу и про себя:

Свечка греет и печет,
Струны звякают.
Что-то тает и течет —
С носа капает.
Ой-люли, с носа капает.

— А про меня? — зашевелился Йонас, которому повязка закрывала не только глаза, но и уши. Полагая, что никто его не видит, он сдернул с головы черный платок и просто речи лишился, увидав перед собой ту самую девушку, которая улыбнулась ему с портрета!

Вот так-так! Откуда она взялась?! Кто она такая? И почему, приложив палец к губам, велит молчать?

Слава богу, Пранас был образцовым учеником Мелании — он так и сидел с завязанными глазами. Поэтому Ксаверия под скрип колес, под треньканье балалайки

могла шепнуть Свечке и Атутису, что при случае все четверо должны бежать.

— Я знаю,— наклонялась она то к одному, то к другому,— вы не верите мне. Мелания велела вам остерегаться.

— Не тебя же,— улыбнулся цыганенок.

— Не тебя,— согласился Швипс, хотя от путешествия в королевский замок он вовсе не собирался отказываться.

Но разве уговоришь Пранцишкуса бежать? Он, видно, решил проверить, не развязали ли попутчики глаза, и попытался ощупать лицо Свечки.

— Ай! — взвыл он, как собака с прищемленным хвостом.— Ты что, дурак! Кусаться!

— А чего ты шаришь, как слепой вокруг пупка?! Откуда я знаю, что это твой палец?

Успокоившись, силач сунул укушенный палец в рот и, посасывая, почмокивая, уснул, как младенец.

Гервазас предлагал оставить Профанаса в повозке и не ждать, когда Еронимас вздумает поразмяться и заглянет под навес. Швипс не соглашался: бежать всем или он тоже останется.

Собственными глазами Йонас увидел за это время столько чудес, сам становился невидимкой, а эта девушка говорит, что всё обман, Меланьины штучки! Вот и пойди сообрази, кто тут врет, а кто нет. Не будь Ксаверия такой красивой и не шепчи она таким приятным взволнованным голоском, Швипс, пожалуй, и слушать бы ее не стал. Но ему понравилось, что Ксаверия не хочет бросать Пранялиса. Вот только как ты его вытащишь из этой телеги. По-доброму не пойдет, захочешь связать — начнет вопить, звать Еронимаса.

Все трое думали, думали, думали — и нашли выход. Вот что они сделали.

Швипс и Свечка опять завязали глаза и прикинулись, что спят без задних ног. И Ксаверию, ясное дело, даже во сне не видят. А та еще раз глянула на возницу, который начал клевать носом, и встряхнула Пранцишкуса за плечо:

— Пранялис, очнись.

— Кто?! Что?!

— Тс-с! Сними повязку — увидишь.

— Ксаверия?! Ты откуда?!

— Мне приказано проводить тебя к Фелиции.

— А они?

— О! Куда им до тебя,— совсем как Мелания, ответила девушка.— Бери свой сундучок и вылезай потихоньку. Еронимас ничего не должен знать. Понял?

— Понял. А ты?

— Если боишься, я спрыгну первой.

Так и сделали. Выпрыгнула Ксаверия, потом Пранцишкус, а Свечка и Швипс — чуть погодя, чтобы Профанас, заметив их, не бросился вслед за громыхающей телегой.

— Ну и куда теперь? — спросил Пранас, не видя вокруг ни души.— Нас что, встретят?

— Конечно,— ответила Ксаверия.— Сейчас появятся два посланца королевны. Тогда и решим, что делать.

— А отсюда до дворца далеко?

— Далеко, Пранялис. Отсюда и башен не видно.

— Ты вот что... ты меня этим плевым именем не зови. Что было, то сплыло.

— А что сплыло?

— «Пранялис», что когда-то пас свиней.

— А-а! Кабы не я, ты бы и сам «сплыл»,— усмехнулась Ксаверия.— А вот и они.

— Так это же Свечка и Шнипс!

— Не Шнипс, а Швипс! Не пугайся: пока все идет прекрасно. Ура! — воскликнула она, подняв над головой свой узелок, пахнувший хлебом и колбасой.

— Здравствуй, король! — передразнивая птицу, приветствовал цыганенок Пранаса.

— Так кто же вы? — ничего не понимая, вертел головой Пранцишкус.— Шуты или посланцы Фелиции?

— А мы и сами не знаем,— ответил Швипс.

— У Ксаверии спроси,— сказал Гервазас.— Сейчас она нам растолкует, кто мы такие и что должны делать.

Ксаверия предложила найти какое-нибудь укромное местечко и до темна поставить шалаш, развести костер, Тогда, мол, станет и уютнее, и веселее.

Беглецы так и сделали.

У костра Ксаверия рассказала им о себе, как сиротой попала к Мелании, как та сделала ее своей помощницей, как она помогала колдунье «ослеплять» и «исцелять» таких, как Йонас...

Точно так же Мелания обрабатывала всех новичков, чтобы, ошарашенные, испуганные, они прикусили языки и свято верили слову ведьмы. А уж потом она внушала им, что хотела. Превращала в дурачков, называя королями, отправляла в королевский замок. Добрую дюжину таких одураченных парней она уже проводила со слезами и поцелуями. Но ни один из них не рассмешил Фелицию и королем не стал. Надели на них рекрутские шинели и загнали в солдаты до старости. А если кто своими

шутками еще прогневил владычицу, тот после розог и шинель-то надеть не мог.

— Ты говоришь «шуты, шуты»,— морщился Пранцишкус,— а я вот знаю, что Фелиции не шуты нужны, а друг — преданный, надежный. Защитник, вот!

— Нашелся — защитник,— съязвил Гервазас.— Это же не твои слова, а Меланьины.

— Неважно.

— А я, например, слышал, что скоморохи да шуты ей надоели хуже горькой редьки. Она, вроде, по певцам, музыкантам скучает... или просто, чтоб побеседовать с кем по душам. Только я и сам знаю, что голос у меня не лучше твоего.

А Ксаверия добавила:

— Да и Пранялис ничуть не сильнее тебя. Еронимасу было приказано падать, как только Профанас толкнет его.

— Что? Я? Я не сильнее этого Огарка?!

— Что, может попробовать хочешь? Швипс, подбрось-ка хвороста в огонь...

Не успел этот хворост прогореть, а Профанас уже растянулся на мху.

— Но у меня еще маслина с осины,— пыхтел он, пытаясь сбросить с себя цыганёнка.

— Значит, Пранас получил маслину, я — яйцо, а ты, Швипс, что? Ах, у тебя же чудо-шапка...

— Надень ее, Швипс,— предложила Ксаверия.— Станешь невидимым, так и оставайся в этом картузе. Никто его у тебя не отнимет, не бойся.

Йонас, краснея от смущения, протараторил заклинание и, напялив на себя картуз, с надеждой взглянул на друзей.

— Братцы! — воскликнул Пранас,— чудо! Да где же он? Я не вижу!

«Невидимка» заметил, как Пранцишкус подмигнул Свечке и Ксаверии, но картуз все-таки не снял. А вдруг?

— Надо проводить Швипса к королевне! Он ее наверняка рассмешит,— предложил Гервазас.— Тогда, может, и нам какие крохи перепадут. Швипс! Эй, ты где?

— Брось, Швипсик. Хватит вранья,— сказала девушка, подошла к Атутису и сняла с него картуз.

— «Хватит вранья...» — кривляясь передразнил ее Пранас.— А от правды какой толк? Куда мы теперь? Может, я и был дураком, пока всему верил, но мне же хорошо было! Мне так весело было, что я бы, может, и Фелицию рассмешил!

— А я-то... уж таких шуток напридумывал,— со слезами в голосе жаловался Йонас, глядя на бесполезный картуз.

— Давайте прикинемся, будто всему верим!

— А что?! — Гервазас окинул всех веселым взглядом.— Швипс! Представь себе, что ты в самом деле невидимый. Ну!

— Сам себя не обманешь,— отозвался тот.

— А почему? — Профанасу предложение Свечки понравилось.— Нам столько всего наврали, давайте и мы врать!

— Так вы что, все еще во дворец хотите?! — изумилась Ксаверия.— По доброй воле?! Дурни вы, дурни! А я-то из дома сбежала, спасать вас пошла.

— А правда, куда теперь денешься? — встревожился Гервазас.

— У меня есть тетушка Каруселла, она поварихой во дворце у королевны.

Пранцишкус, только что умявший хлеб и колбасу из узелка Ксаверии, даже присвистнул от возмущения:

— Сама — во дворец, а нам что же? — опять свиней пасти?! Нет, братцы, тут что-то не так.

— Тетушка — это, Пранас, еще не королевна,— заступился за девушку цыганёнок.— Ксаверия шутовского хлеба у нас не отобьет.

— Тут что-то не так,— повторил Профанас уже с опаской, заподозрив какой-то подвох.— Королевская повариха — большой человек,— говорил он.— И Ксаверия могла бы с ней поговорить, чтоб она помогла нам, словечко замолвила или еще как... Нет, что-то тут не так.

— Да я ее в жизни-то не видела. Только знаю — Мелания говорила — есть такая во дворце. Пойду, авось, не прогонит.

— А знаете что! — сказал повеселевший Йонас.— Пусть Ксаверия поживет там годик, присмотрится, разузнает, что и как...

— А мы через год придем! — подхватил мысль Швипса Гервазас.— Только не сразу к королевне, а сначала к тебе, Ксаверия.

— Зазнается, узнавать не будет. Через год ей до носа граблями не достанешь,— разбубнился Пранцишкус, а Ксаверия, подумав, согласилась, что Швипс и Свечка правы. Так тому и быть. Если Каруселла ее примет, то в будущем году, на третий день после вознесения, Ксаверия будет ждать их в полдень у Больших дворцовых ворот.

— А что вы будете делать целый год? — озабоченно

спросила она.— Учтите, Мелания прикажет вас искать, Еронимас в любую глушь доберется.

Проще всего Свечке:

— Найду,— говорит,— цыганский табор — и поминай как звали!

— А я лапти плету. Проживу как-нибудь,— сказал Йонас, уже оглядываясь в поисках липы.— Пранас, может, и ты со мной?

— Не-е,— покачал головой Пранцишкус. — Я что-нибудь посерьезнее. Пронюхаю, где смолокуры, наймусь пни корчевать. Больно люблю, как деготь пахнет.

Он и сейчас перекатывал в костре палкой красиво полыхающий смолистый пенёк, который почему-то казался Швипсу королевским замком, а Гервазасу уже виделись смуглые цыгане вокруг костра, вспоминались их говор и песни.

— Не ковыряй,— незло прикрикнул Свечка на Пранаса,— искры летят Ксаверии в волосы.

Все умолкли, приуныли, чувствуя скорую разлуку, а Ксаверия не могла больше сдерживать «двери», за которыми скопились слезы, и поэтому она сдернула с головы платок и горько-горько заплакала.

Глава VII

ВАМПИР

Йонас обошел вокруг замка и убедился, что ворот, кроме этих, нигде нет. Но где же Ксаверия? А главное, Пранаса и Свечки не видать. Может, не дождались условленного дня? Уже испытали свое счастье?

Разве не мог их соблазнить тот глашатай, которого Швипс как-то видел на ярмарке, сбывая лапти и корзины?

Верховой не то солдат, не то писарь — на боку сабля, на другом — кошель, врезался в самую толпу, велел кому-то подержать коня, а сам встал на седло и, показав людям бумагу с королевской печатью, закричал, что-де светлейшая Фелиция ждет во дворце не только шутов, но и прочих богом не обиженных молодцев.

— У кого денег нет, тому и бояться нечего,— горланил молодчик, стоя на скользком седле.— А кто страха не знает — пусть судьбу испытает! Авось станет лейб-гвардейцем, а то и до генерала дослужится! А лейб-гвардия — это вам не «тьфу»! — лихие парни — опора нашей светлости! А если кто смекалистый... или хотя бы языкастый, тем дорога в послы да в министры! А чтоб яснее было, скажу, что министр — это генерал, епископ и граф в одной куче.

— Трое в куче, а сверху черт! — откликнулся какой-то оборвыш, приседая за спинами зевак.

Но глашатай тоже был не лыком шит:

— Видали — один уж язык точит. Браво! И остальные — думайте, слушайте с открытым ртом. Если кому в глотку скворец запорхнет — упаси вас бог шевельнуться! Пусть гнездо вьет! Пусть яйца кладет — тогда уж айда к королевне — похвастать. Тише! Тише! Смеяться не позволено. Сперва королевну рассмешите.

— А сам-то пробовал? — прогудел, словно из бочки, повисший на костылях попрошайка.

Пока глашатай прикидывал, как похлеще ответить, какой-то змеелов пустил гадюку людям да коням под ноги. Бабы — визжать, лошади — брыкаться, а глашатай взмахнул руками — хряп! — и исчез в толпе. Народ — кто куда, с шумом и гамом, а Швипс бросился было за глашатаем расспросить да разузнать, но где уж в такой гуще пробиться лаптями обвешанному, корзинами нагруженному...

Тощий пятнистый пес пугнул ворон, и они с карканьем поднялись с конской кучи, оставленной у ворот. Йонас вспомнил, что в кармане у него есть еще недоеденный пирожок. Проголодался, купил за грош, но, подходя к дворцовым воротам, заволновался — не до еды стало. Из пирожка сыпались кусочки копчёного сала. Швипс свистнул пятнистому и присел, чтоб не пугать его своим ростом.

За минувший год Йонас изрядно вырос. Штаны едва прикрывали щиколотку, рукава сюртука — локти. А вот картуз, подаренный Меланией, расползся еще больше, поникший козырек заслонил веснушчатый нос и голубые,

вечно удивленные глаза. Швипс будто вправду стал невидимым, поэтому даже вздрогнул, услышав незнакомый голос:

— Это ты что ли Атутис? Швипс — ты?

Обернувшись, он сначала увидал стоптанные башмаки, истрепанную до бахромы вишневую юбку, палку и подумал: кто же это?

— Я кого спрашиваю! — нетерпеливая женщина нащупала спрятанное под картузом ухо и заставила Швипса подняться.

— Ксаверию ждешь?

— Ксаверию! — обрадовался он. — А вы ее тетушка? Каруселла?

— Да-да-да, Каруселла,— она заглянула Швипсу в лицо.— Ксаверию не жди. А пирожок лучше бы сам слопал, я на твою долю пирогов не пекла.

— А где же Ксаверия?

— Королевна ее от себя на шаг не отпускает. А насчет вашей дурацкой затеи — тут я сама тебе посоветую. Ты, вижу, парень здоровый, красивый, да еще собак пирожками кормишь — ступай-ка ты, детка, откуда пришел, живи, как жил.

— А как же другие? Должны придти Пранас, Гервазас.

— Были уж, были. С самого утра тут слюни пускали. Я и с ними по-хорошему. Не послушались. Дурачки. Помотаешься по городу — может, встретишь еще. После первого испытания накормят их березовой кашей да вышвырнут.

— Так значит, Пранас и Свечка там?! Уже вошли? И меня не дождались?

— Не вошли, а попали как кур во щи. Хоть ты голову поимей. Ишь! Засверкал глазами-то. Ты что, по розгам скучаешь? Ну давай, подставляй спину.

Старуха не шутя замахнулась палкой, но Швипс изловчился и отскочил. Однако от ворот не ушел. Что там палка — во сто раз больнее было предательство Пранаса и Свечки.

Ну, Пранцишкус... бог с ним. Он всегда считал себя умнее других. Что ему какой-то Шнипс или Шлипс, с которым они и были-то вместе день-два. Но Свечка! Гервазас! А может, цыганёнок просто согласился с Каруселлой, пожалел Швипса, дескать, нечего ему беду искать. Сам-то он, ясное дело, сквозь любые розги рвался к своей Ксаверии. Еще тогда, год назад, собирался провожать ее до самой столицы. Но и у Швипса была тайна, цель, неведомая другим. Чем больше отдалялся он от братьев, тем чаще вспоминал отца и не раз в душе клялся разыскать его во что бы то ни стало — не живого, так мертвого.

Не ради богатой бобровой шапки гвардейца, не ради кареты министра, а ради себя, чтоб не стыдно было называться сыном своего отца. Йонас подошел к страже у ворот и сказал, что хочет служить светлейшей королевне Фелиции.

Опекун-губошлеп велел называть себя господином Бешулой. Пранасу и в голову не приходило, что это королевский палач. Вовсе не таким представлялся он трем парням, запертым в отдельных каморах замка, ждавшим своей очереди показать Фелиции смекалку, храбрость и умение веселить.

Лицо Бешулы было тупым, на редкость тупым: отвалившаяся челюсть, повисший нос, мутные от пьянства глаза, стыдливо смотрящие мимо собеседника, на узком лбу отчетливо виднелся шрам от удара лошадиным копытом. Возможно, именно поэтому меченный кобылой Бешула в свое время полюбился королю Аштаутасу как самый безопасный шут. Он мог не говорить ни слова, но стоило взглянуть в это идиотское лицо с пугливыми глазками — и невозможно было сдержать смеха. А как приятно сознавать, какой ты мудрый, красивый и могучий по сравнению с такой образиной. Но для двора Фелиции, скорбящего, траурного, этот бездельник был некстати. Сердобольная Каруселла взяла Бешулу на кухню, и несколько лет он свежевал и потрошил. Набив руку на петушиных головах, Бешула снова возвысился и стал палачом. Придворные, еще помнившие его в должности шута, прозвали Бешулу Шутлачом. В этом имени уместилась вся его жизнь: от шута до палача.

Как-то вечером Шутлач принес Пранцишкусу бритву, зеркало, гребень, целую свечку и велел привести себя в порядок: причесаться, соскоблить с подбородка еще ни разу не бритый пушок (усы он разрешил оставить). И Пранялис понял: ночью что-то произойдет. Возможно, даже свидание с самой королевной. Дрожащей рукой он не столько побрился, сколько изрезался, подвел усы свечной копотью и долго любовался собою, глядясь в изящное зеркальце с серебряной ручкой.

Однако настроение ему испортил черный вьющийся волос, застрявший в гребне — волос Гервазаса! И это после того, как, запуганные Каруселлой, они у ворот всё взвесили, обсудили и договорились, что один вернется в табор, а другой — к смолокурам.

«Надул, подлец. Одно слово — цыган!» — рассвирепев, Пранас растоптал, словно червя, этот проклятый волос.— Ну ладно! Еще поглядим, кто кого. Я год в лесу прожил — мне теперь сам черт не страшен».

О том, что пробил решающий час, говорило и необычно нарядное платье Шутлача, блестящие сапоги и водочный дух, дошедший до Пранаса, когда тот явился с фонарем в руке и объявил:

— Ну-с. Пошли. Проверим твою храбрость.

Грохоча по каменной лестнице, они спустились вниз, и, шагая по холодному подземелью, миновали несколько воющих и по-свинячьи визжащих дверей. Наконец в зале, залитом светом множества свечей, Бешула остановился и сказал Пранцишкусу:

— Ну вот. Переведи дух, перекрестись и дальше пойдем.

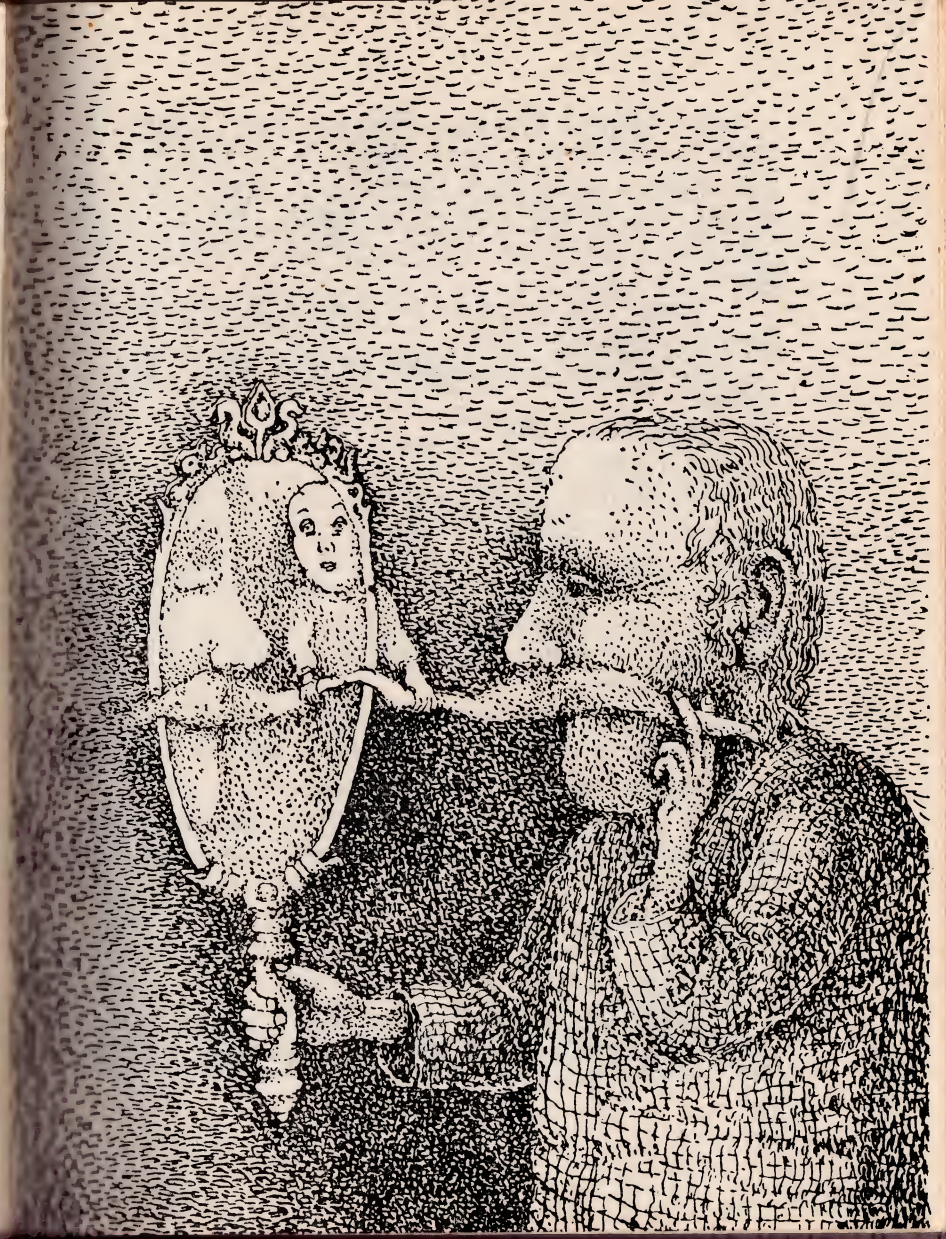
— А что там, дальше? — спросил Пранас, не узнавая собственного голоса.

— Подвал... для пыток. Оттуда немногие живыми выходят.

От ужаса, как от мороза, перестал саднить истерзанный бритвой подбородок, в голове мелькнуло, что хорошо бы Бешуле сказать о Ксаверии — может, она в случае чего хоть соломинку протянет.

— А вы, господин, случайно не знаете Ксаверию? — обратился Пранас к палачу.— Она родственница Каруселлы, кухарки.

— Не место и не время болтать о знакомствах,— ответил тот и тут же несколько мягче и тише добавил.— Учти: тут стены слышат, потолок видит, пол каждый шаг чует.



Голос Бешулы показался Пранасу дружелюбным, поэтому он почти без страха шагнул в затхлый полутемный подвал. Когда глаза привыкли к мраку, Пранялис увидал пустой гроб, свечи по бокам. Внутри белела стружка, в изголовье лежала черная бархатная подушечка.

— Гроб? — он покрылся мурашками и повернулся к Бешуле.— Это для кого?

— Для тебя. Укладывайся. И чтоб тихо... как покойник.

— Живым в гроб?!

— А ты как хотел?

Глаза Бешулы, словно зайчата, привязанные за ноги, метнулись туда-сюда и снова исчезли в темноте. Но, увидев лицо Шутлача, Пранцишкус вспомнил, что это только испытание на смелость, и кое-как придушил свой испуг. Всё же оставаться одному не хотелось. Эти слова несколько успокоили его и, залезая в гроб, Пранас еще спросил палача:

— Ну, а королевна узнает о моей смелости?

— Узнает. Главное — пролежать до зари не шевелясь.

— А меня крышкой не закроют?

— А если и закроют. Всё равно — не шелохнись. Хоть одной ногой пола коснешься — конец твоим испытаниям. Не выдержал.

Тут Пранасу вспомнился черный волос в роговом гребне, и он, укладываясь поудобнее, сложил на груди руки и гордо произнес:

— Ради светлейшей — хоть в землю живьем. Только не забудьте: Пранцишкус мое имя. А фамилия — Тишкус.

— Пранцишкус Тишкус,— повторил палач.— Кому надо, тот знает. Спи спокойно.

Когда Бешула исчез, Пранас прислушался: чьи-то шаги, шорохи, мужской и женский шепот. А вскоре снова открылась дверь, и Пранцишкус узнал голос Гервазаса.

— О! Да тут мертвяк! — бодро воскликнул Свечка, тоже узнав Профанаса.

— «Мертвяк»,— передразнил его палач.— Это, брат, знаешь... Он в полночь встает из гроба, такие безобразия творит! Королевне спать мешает.

— Может вампир или вурдалак?

— Вот то-то и оно. До зари с ним посидишь, отпоешь, попричитаешь — может угомонится.

— Но ведь я ни одного псалма не знаю,— набивал себе цену Гервазас.— А что же мне делать, если он того... встанет?

— На столе свечи найдешь,— указал Шутлач в темноту.— Зажги, чтоб светлее было, а там, как хочешь, пой, молись — твое дело.

— А зовут-то его как? Кто такой? — придурялся Свечка.

— Пранас, Пранцишкус,— пробормотал Бешула и, покачивая фонарем, вышел.

«Если этот дурень не знает, что за нами следят, да начнет со мной разговаривать, оба пропадем,— решил Профанас, которому впилась в бок какая-то щепка.— Один выход — замереть, не дышать, не шевелиться: пусть Свечка думает, что его в самом деле угробили».

Гервазас склонился над гробом и внимательно посмотрел в красное от напряжения лицо «покойника», потом он снял со свечек нагар, вздохнул и уныло завыл:

Ой ты Пранас, Пранцишкус, Пранялис,
Самый счастливый,
Самый смешливый...
Никто не оклевещет,
Никто не даст затрещин
В царствии небе-е-есном!

— Это почему же?! — рявкнул из темноты пронзительный голос.

Пранцишкус вздрогнул — аж гроб застонал. Гервазас, струхнув ничуть не меньше, опрокинул свечку и, оставшись в кромешной тьме, дрожащим голосом продолжил:

Нос как картошка,
Лицо словно плошка,
Ручки кривые,
Ножки хромые.
Не любят таких де-е-евушки.

— А-а-а...— понимающе вздохнул невидимый призрак.

Пранялис понял, что Гервазас берет верх, а сам он так дрожит, так трясется в гробу, что стружки хрустят.

Умер — и ладно!
Мучиться не надо:
Ни терпеть, ни каяться,
Господам не кланяться.

«Ишь, стервец! Как по писаному чешет! Ну постой! Я и сам тебя попугаю»,— решил Пранас. Он открыл один глаз и, собираясь оставить плакальщика впотьмах, хотел схватить свечу, но не дотянулся.

— Лежи, Пранялис! Тихо! Отдыхай,— как ни в чем не бывало причитал Гервазас.

Коровки не бодают,
Блошки не кусают,
Никто в стену не сту-у-учит.

Из темноты раздался леденящий душу голос:

— Вставай... Вставай... Иди сюда, поужинаем.

Гервазас еще громче:

Леший их знает,
Зачем подзывают!
Вылизывать ложки?
Постукивать в плошки?
Отвяжитесь, кровопи-и-ийцы!

В том же углу взвыли три голоса: один — грозно, второй — с любопытством, третий — таинственно:

— Что за кровопийцы!!!

— Что за кровопийцы?

— Что за кровопийцы?

От ужаса Пранялис скрючился в гробу, как умирающая пчёлка, сунул руки между коленями и завыл «у-уи»... А этот пройдоха Гервазас взял последнюю свечку и пошелся посмотреть, что там за кутерьма.

Бух, бух, бух! — гремели шаги цыганенка, перекрывая стук сердца Пранялиса. Затихли шаги. Остановился...

— А-а-а! — жутко завопил Гервазас, бросил свечку и, ни слова не сказав, кинулся к двери, где сквозь замочную скважину сочилась слабая струйка света.

Глава VIII

ОДОЛЖИ МНЕ СВОЙ ЖИВОТ...

Йонас петлял в тех же коридорах, по которым вели Свечку и Пранаса, успел познакомиться с двумя придворными господами. Первым был Бешула, к которому его привел стражник, а второй своего имени не назвал. Он был молодой, бледный, словно картофельный росток в погребе, и, судя по множеству книг в его комнате, весьма ученый. Он взглянул на Йонаса сквозь очки, потом проводил взглядом спешащего куда-то таракана и наконец сказал:

— Стоит в лесу дуб с развилкой, на каждой ветви по две развилки, а на ветвях от тех развилок еще по две развилки. А на каждой ветви по яблоку. Сколько всего яблок?

Швипс в раздумье еще дальше проводил таракана, убедился, что королевские прусаки ничем не отличаются от деревенских... А сколько же яблок на дубе?

— Ну? Сколько же? — торопил его очкастый.

— А столько же, сколько желудей на соседней яблоне! — слукавил Швипс.

— Браво! — одобрил Чахлый, и на этом их свидание закончилось.

Теперь, когда Шутлач поднял фонарь и осветил позеленевшего от страха Пранялиса, Йонас чуть не рассмеялся и бойко спросил Бешулу:

— А это не королевский шут?

— Угадал,— сказал Бешула, зажигая свечи.— Увял, бедняга, от любви зачах. Третий год угомониться не может, буянит по ночам.

— Третий год! А свеженький какой,— изумился Швипс.— И как же он буянит?

— Встает по ночам, шастает, людей пугает.

— А-а...— смельчак пренебрежительно отмахнулся.— Пусть гуляет, коли бока отлежал.

— Так кабы только гулял! Вурдалачье племя! Теплой крови не напьется — не уляжется,— не менее правдиво заливал Бешула.— Там на столе,— он указал в темноту,— саблю найдешь, отрубишь ему голову и положишь между ног. Вот он и притихнет.

Йонас сник. Это уже не шутки — живому-то человеку голову...

— Понятно? — спросил палач.

— Понятно,— ответил Швипс.— А без этого... без головы никак нельзя смелость показать?

— Я сказал, что велено было,— отрезал Шутлач, глянул еще раз на полумертвого от страха Пранаса и вышел.

Швипс насторожился — почувствовал, что они с Пранасом не одни: в темноте кто-то шушукался и скребся. Он, как и положено, опустился на колени у гроба, перекрестился и забормотал, будто читая молитву:

— Лежи, не дергайся, упаси господи. Сейчас гляну, что к чему... Шепни, что делать, аминь...

— Эй, там не протекло? — шевельнул губами «мертвец».

— Где? Что протекло? Ты что, Пранялис, в самом деле... того? Аминь.

— Со дна гроба не капает? — волновался Пранас, видимо, не без оснований.

— Воск со свечек капает. Лучше уж помалкивай, дурак! — успокаивая товарища, «молился» Швипс.

— А с головой как же? — продолжал «вурдалак» не столько губами, сколько носом, страстно надеясь вылезти из гроба победителем.

— Посмотрим,— бормотал Йонас.— Мимо рубану, башку не трону, а между ног — подушечку положу. Упокой, господи, твою душу во веки веков.

Он еще раз перекрестился, встал и, взяв в руки свечу, пошел искать саблю, о которой говорил Бешула. Сделав несколько шагов в темноту, он и в самом деле увидал стол из толстых досок, предназначенный, видно, для пыток. На нем блестела сабля, а рядом с ней... Швипс опять подумал, не снится ли ему, рядом с саблей, словно приросшие к столу, торчали три головы! Голова Чахлого, вторая — незнакомая, а третья — неужели Каруселлы?

Пламя обжигало ладонь, которой Швипс прикрывал свечу, а он, окаменев от этакой жути, даже вскрикнуть как следует не мог.

— Просим, просим в компанию,— осклабилась вдруг незнакомая голова.

— Одолжи мне свой живот,— сверкнула глазами вторая.

— А мне ножки,— умоляла тетушка Ксаверии.

Швипс бочком, бочком — обратно, пока темнота не

поглотила этот кошмар. Натолкнувшись на гроб, он обернулся — Пранцишкус зарылся лицом в стружки и прикрыл затылок черной подушечкой. Рассекая темноту медным подсвечником, Швипс добрался до двери и очутился в светлой комнате лицом к лицу с Бешулой, укоризненно качавшим головой.

У стены на лавке сидел Гервазас, сникший, неведомо откуда взявшийся.

Шутлач, оставив незадачливых смельчаков грызть локти, спустился в подвал, поднял над гробом фонарь и сказал:

— Ну, молодец. Мужчина! Вставай. Теперь сто лет проживешь.

— А что, рассвело уже? — корча из себя отчаянного смельчака, зевнул Пранялис Тишкус.

Но палач, не обращая на него внимания, поспешил освободить призраки, которые сидели под столом на низких табуретах, высунув головы в прорезанные в столешнице дыры.

— Ну вас к лешему! Шея затекла,— сердилась на мужчин Каруселла.— В другой раз, господа, ищите кого помоложе.

Чахлый и сам недоминистр Барздукас, придумавший эту хитрость, были довольны.

— А что наша повелительница? Уходя ничего не сказала? — обратился Барздукас к кому-то, скрытому в темноте.

— Потом, потом, господа,— услышал Пранас голос Ксаверии и с грохотом вывалился из гроба.

Шутлач уже зажег несколько свечей, и Пранас уви-

дел, как Ксаверия выросла, похорошела, приоделась. То ли она зазналась, то ли хитрила, но даже виду не подала, что узнаёт Пранаса Профанаса, поэтому он обратился не к ней, а к Бешуле:

— Так здесь и королевна была?! И видала, как я?

— А как же! — ответил за Шутлача господин Барздукас.— Вон пощупай: еще и кресло теплое.

В самом деле, чуть поодаль высилось роскошное, предназначенное только для владычицы, кресло красного дерева с мягким сидением.

— Не только королевна. Я тоже видела! — лишь теперь изволила съязвить Ксаверия.— А это, чтоб ты знал — его милость Барздукас, недоминистр.

— О-о! — смущенно замычал Пранас.— Вон как...

— Молодчина, герой,— похвалил Пранаса уже знакомый ему Чахлый.— Выдержал испытание.

Тот, хмелея от счастья, щупал и гладил кресло, хранившее высочайшее тепло. Ксаверия помогла тетушке накрыть стол вишнёвым бархатом, Шутлач поставил серебряные подсвечники, и экзаменаторы уселись на мягкую скамейку.

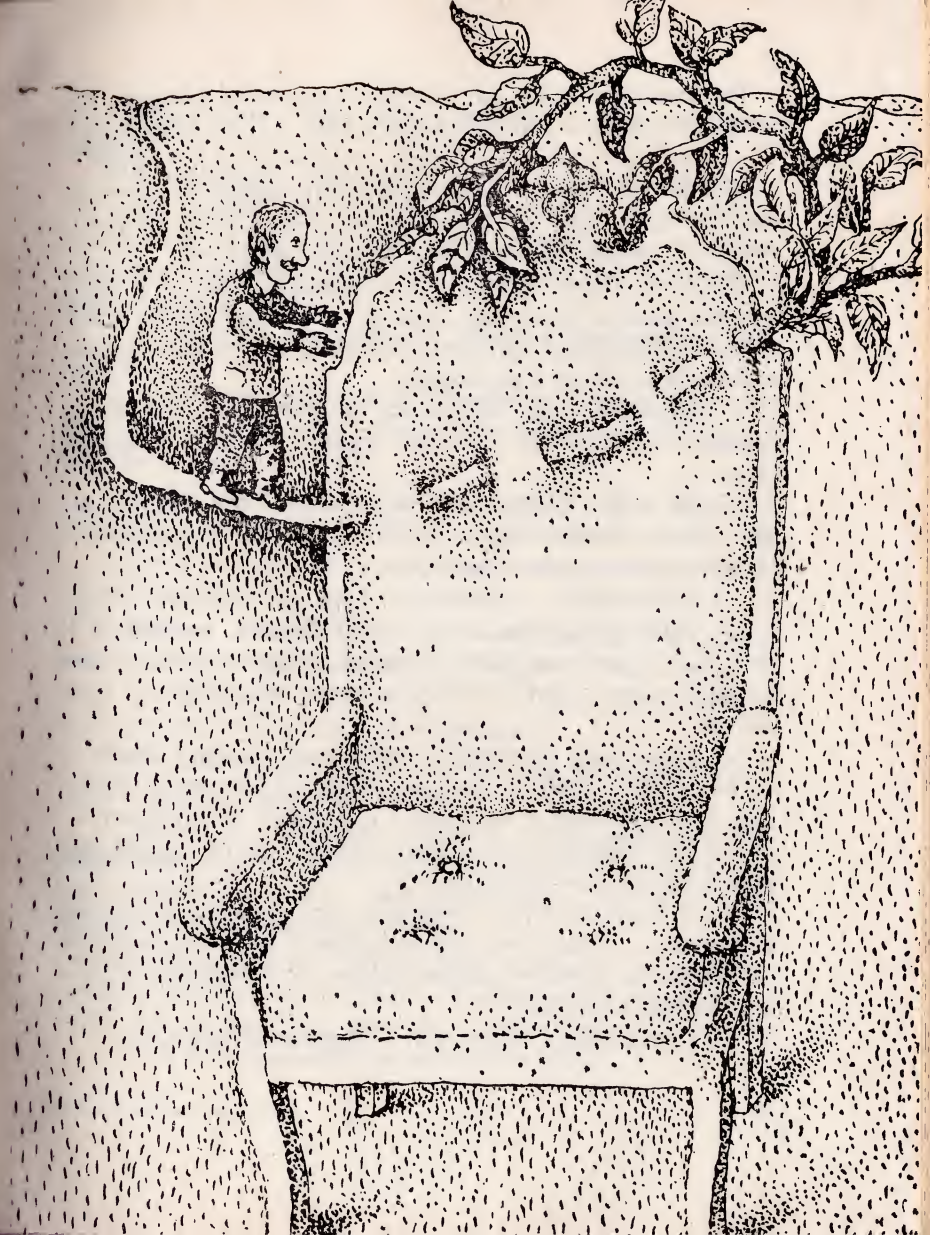
— Давай тех двоих,— бросил Барздукас Шутлачу тоном, не сулящим ничего хорошего.

— Зеленые совсем, мальчишки глупые, жалко их,— пыталась заступиться Каруселла.

— Да знай я, что на меня сама королевна смотрит,— Пранялис все еще обнимал теплое сидение,— я бы так умер, я бы так умер!

— Браво! — снова гаркнул очкастый.

— А за смелость твою, господин Тишкус, садись в кресло повелительницы,— раздобрился вдруг недоминистр.



Пранцишкус даже рот раскрыл. Захлопав глазами, он осторожно присел, но тут же вскочил: уж не подвох ли?

— Садись, садись, не бойся,— подбодрила Ксаверия.

Теперь уж Пранас подпрыгнул и плюхнулся в кресло, как тесто на под, от высочайшего тепла разрумянился, раздулся, словно на дрожжах, и даже запáх ими.

Шутлач привел Швипса и Гервазаса. Увидев в этом жутком подвале красивый стол, не менее красивых господ да еще Ксаверию с виновато опущенными глазами, парни остолбенели, застыв на пороге.

— Ай-яй-яй... Ну что ж вы, молокососы,— издевался Барздукас.— Мертвых боитесь, живых боитесь. Идите-ка сюда.

— Да я не слишком-то испугался,— отвечал Гервазас.— Так... наполовину,— он хлопнул себя по коленям.— Ноги струхнули, сами вынесли.

— Языкастый,— значительно буркнул Бешула.

— Сама королевна здесь была! Видела, как вы... И как я...— уже как равный среди равных вставил свое слово Пранас.— Вот. Потому и сижу в кресле ее светлости!

— Сиди-сиди, просыхай,— обернулся к нему Йонас.

Барздукас, требуя тишины, постучал алмазным перстнем о подсвечник и обратился к Швипсу и Гервазасу.

— Ну, выбирайте: тридцать розог — и по домам или новое испытание, потруднее?

— Я вам советую — возвращайтесь,— кивала головой Каруселла.— Получите, что заслужили, да ползите домой.

Парни вопросительно взглянули на Ксаверию, а та — ни два, ни полтора.

— От семерых отлаетесь? — спросил Шутлач.

— Крепостным был — не пробовал,— пожал плечами Швипс.

— Языкастый,— теперь уж и его похвалил Бешула.

— Но учтите, парни! — погрозил пальцем Барздукас,— оплошаете, на втором испытании споткнётесь — выхода лишь два: либо в солдаты на всю жизнь, либо светлейшую развеселить. И всё!

— А коли не получится? — спросил цыганёнок, оглядываясь.

— А ты поверти головой, поверти,— Бешула хрустнул костяшками пальцев и указал носом в темный угол.— Колоду и топор видишь?

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Попробую! — твердо сказал Йонас, снова вспоминая об отце.

— Да и я, пожалуй,— решился Гервазас,— от семерых-то отлаюсь...

Ксаверия, которая до сих пор комкала свой платочек, не зная, как и что посоветовать парням, теперь засветилась и одобряюще взглянула на них. Даже Пранцишкус, заметив это, поспешил присоединиться:

— А я-то что ж? Смелость показал, могу показать и этот... язык. Остроумие, в общем...

— Конечно, конечно,— ответил недоминистр.— Можешь считать себя придворным. Хочешь — в гвардии служи, хочешь — повыше, милости просим... А пока этим желторотым за старшего будешь.

Господа поднялись, чтобы уйти, поэтому Пранцишкус Тишкус выпрыгнул из кресла, почтительно поклонился и стоял так до тех пор, пока не услышал голос Шутлача:

— Ну, короли-министры, пошли баиньки...

— Так что же сказала повелительница? — снова спросил Барздукас Ксаверию, когда экзаменаторы поднимались по мраморной лестнице во дворец.— Довольна была? Хоть словом обмолвилась?

— Ей очень не понравилось.

— Не понравилось? — испугавшись, недоминистр имел привычку трясти головой и ощупывать свой кадык.— Ну, а сказала-то что?

— Повелительница трижды сказала: «Кошмар, кошмар... Я и так по ночам заснуть не могу!» Понюхала какой-то флакончик и вышла.

— Веселее кто-нибудь придумайте, веселее...— задыхалась от долгой ходьбы по лестнице Каруселла.

— Тебе легко говорить... «Придумайте!» А как? Откуда я возьму эту веселость?

— А может, из Пранцишкуса? — закудахтал тайный советник Фелиции, прозванный Швипсом Чахлым.— Sancta simplicitas.

По-латыни это значит «святая простота», но Барздукасу послышалось: «парни сопливые», и, все еще потирая кадык, он успокоил себя и других:

— Ничего, утрем, помоем, оденем... Я их натаскаю, вышколю — они, змееныши, будут по стенам ходить, животами запоют! Живым огнем плеваться будут!

— О санкта симплицитас! — теперь уже простонал Чахлый и, не попрощавшись, свернул в свой монашеский закуток.

Глава IX

КТО НЕ ПЛАКАЛ, ТОМУ НЕ СМЕЯТЬСЯ

Давным-давно остыл чай, нахальная муха гуляла по осыпанному орехами и корицей пирожному, а королевна Фелиция сидела в постели, утопая в пуховых подушках, и ленилась отогнать муху, ленилась приказать, чтобы сняли с колен этот дурацкий поднос с завтраком...

«Мухи, как мои министры,— думала Фелиция, распаляясь гневом на весь мир и на придворных.— Изолгались, ядовитой слюной меня залили да еще прикидываются, что об исцелении моем пекутся. Кровопийцы! Крысы! Да-да, крысы! В клочья растерзали мое счастье, по крохам растащили радость, моим смехом утробы набили, покоя меня лишили, свили себе гнезда и довольны. Пригрелись! Жиреют, тупеют да меня надувают.

Разве не ангел тот вор, что довольствуется деньгами да золотом? Так нет же! Эти господа присосались, как пиявки, иссушили душу, изгрызли сердце, подрезали крылья, ноги подрубили, чтоб и шага без них ступить не могла. Вот и стой, словно нищенка, с протянутой рукой, прося хоть кроху радости, хоть толику надежды, ради

которой нашлись бы силы подняться и разыграть каждодневную комедию»...

Разгневанная Фелиция еще немного повертелась на перине — ни дать ни взять — баклажка, распираемая забродившим пивом,— и наконец, подняв руку, дернула шелковый шнурок — позвонила Ксаверии, чтобы та пришла и помогла одеться.

Точно такой же шнур, только потолще и с серебряным колокольчиком чуть побольше, висел над королевским троном. Король Аштаутас называл этот шнурок браздами правления. Подергав его, он призывал к себе министров и советников. А со времен Аштаутаса во дворце мало что изменилось.

Гвардеец в дверях трижды стукнул об пол алебардой и возвестил, что в тронный зал следует светлейшая Фелиция Аштаутайте. Трое государственных мужей — министрейший Пац-Пачупайла, министр Шваба и недоминистр Барздукас — склонились сообразно своим возможностям и замерли. За их спинами сопел Бешула, изрядно отличившийся этой ночью. А может, светлейшая его не заметит...

Рядом с сопровождавшей ее Ксаверией Фелиция выглядела как прошлогодняя картофелина в соседстве с румяным яблочком, как ленивый распустивший хвост павлин возле проворной и скромной синички. Королевна обрюзгла раньше вмемени, ходила мрачная, словно подавилась рыбной костью. Впрочем, суровость была напускной, это она умела, хитрая и коварная Фелиция. Вот и теперь, кажется, и глаз от пола не подняла, а увидела: над троном болтается петля!

— Это что такое?! — крикнула она, не ответив на поклоны.— Что это значит?! Намек?!

Ксаверия придвинула стул, хотела залезть и развязать петлю, но королевна остановила ее:

— Кто завязал, тот и развяжет. Ну? — она грозно взглянула на вельмож.— Я спрашиваю, кто трогал бразды правления?

— Шутлач повеситься хотел... ночью,— осмелился сказать правду министрейший.

Бешула, которому до смерти хотелось упасть и хоть минутку поспать, по старой шутовской привычке бухнулся королевне в ноги. Пусть она пнет его, пусть прогонит домой, а еще лучше — на все четыре стороны...

А Фелицию вдруг обуяла такая тоска — из-за Шутлача, из-за себя — минувшей ночью и ей пришла мысль удавиться! Так вот с кем она сравнялась! С палачом, с пьяницей, с подонком... Стало быть, не они набрались ума и благородства от дочери Аштаутаса, а она, Фелиция, опустилась до Бешулы!

— Палач, а веревки не нашел?! — закричала она, все еще стоя перед троном.— Ксаверия, принеси ему веревку, на которой Каруселла белье сушит.

Ксаверия, зная характер королевны, не послушалась. Проворно, как белка, вскочила на стул, с него на подлокотник трона и кое-как развязала эту злосчастную петлю.

— Благодарствую, вашлость. Уже не надо,— мямлил перепуганный Бешула.— Дурь пришла да ушла. Его милость министр Шваба подоспел вовремя.

— Ты зачем ему мешаешь! — садясь на трон, прикрикнула Фелиция на Швабу.— Пусть удавится, пока казенный топор не пропил. Палача мы всегда найдем.

— Найдите, ваша светлость! — взмолился Бешула, еле ворочая пьяным языком.— Шут я. Был, есть и остаться им хочу.

— Так рассмеши! Ну! Рассмеши — королем сделаю,— по брюзжащему голосу королевны было ясно, что она не отпустит Бешулу, пока вволю не поиздевается.— За все эти годы ни разу не рассмешил. Расступитесь, дайте ему место,— махнула она министрам.— Ну, Бешула! Мы ждем.

Тот, хоть и пьяный, а видит — не до шуток. Надо хотя бы покорность проявить... Откашлялся и пропитым голосом затянул:

Сидит баба на лугу,
Тянет за уши блоху.
Кто старушку обоймет,
Тот блоху себе возьмет.

Дрыгнул ногами раз-другой, попрыгал — видит: никто не смеется. И голову повесил.

— Нет той прыти. Да и по чести скажу: боюсь, ваша светлость. Думаю: а вдруг не понравится?

— А ты не думай. Ты палач, вот и оставайся палачом,— попытался закончить эту катавасию Шваба.— А смешить — дар божий, если не ошибаюсь.

Но Фелиция не унималась и начала обвинять всех подряд:

— «Прыти нет...» Да что здесь происходит, черт вас всех подери! Правлю королевством, толпы умников кормлю, а они и рассмешивать-то по-человечески не могут! Разожрались! На моих слезах жиреете! Дурачите меня!

— Как можно, ваша светлость! Мы сами дураки! — оправдывался Барздукас.

— От преданности поглупели,— добавил Бешула.

— Пошел вон! И позови Каруселлу! — крикнула Фелиция.

Шутлач облегченно вздохнул и, покачиваясь, вышел. Королевна молчала, ждала, что теперь запоют министры, и, не дождавшись, поторопила:

— Ну? Что топчетесь, как медведи? Чем порадовать боитесь? — А министр Шваба в нашем присутствии даже зевнуть изволил!

— Нет, ваша светлость, просто я рот открыл, чтобы доложить...

— Ну так доложи, просим, просим.

— Минувшей ночью я имел честь, так сказать, оберегать ваши сны,— оправдывал свой зевок министр,— глаз не сомкнул, вашлость.

Но владычица не упустила возможности поиздеваться и над ним.

— И что же тебе снилось? — серьезно спросила она.

— О-о! — министр сладко улыбнулся.— Только не гневайтесь, светлейшая. Приснилось мне, что вас на руках несу, если не ошибаюсь.

— Ты слыхала, Ксаверия? Он глаз не сомкнул... Ну, и куда же ты меня отнес?

Швабу аж пот прошиб. «Куда б эту ведьму отнести? Что соврать?..»

— А пока нес, вспомнил, что мне, вроде, и не положено... то есть, при исполнении... во сне, если не ошибаюсь...— совершенно запутался министр и даже сам помотал головой: «фу!».

— Пошел вон! Проспись! — вскипела королевна, и

Шваба, пролепетав: «Слушаюсь, вашлость», начал пятиться и пятился, пока не распахнул дверь и не исчез за ней.

— А что новенькое соврет министрейший? — владычица пронзила взглядом Почупайлу.

Тот моментально — фьють! — вытянул из рукава пергамент, развернул его с шуршанием и, поглядывая, что там написано черным по белому, забубнил:

— В королевской оранжерее зреют несколько необычных плодов.

— На меня смотри, на меня! — потребовала Фелиция.

— Сверху кожица,— уже не так уверенно продолжал Пац-Почупайла.— Одна сторона розовая, другая пока зеленая, но и она уже развивается в желательную сторону... Предполагается,— министрейший снова уткнулся в пергамент,— что плод будет достаточно сочным, кисло-сладким и, несомненно, пригодным для королевского стола. Следует отметить, что внутри уже зреют сердцевидные семена каштанового цвета...

— На меня смотри! Кому говорю?

— Ага! Да! — смутился Почупайла.— Простите, вашлость... Так о чем это я?

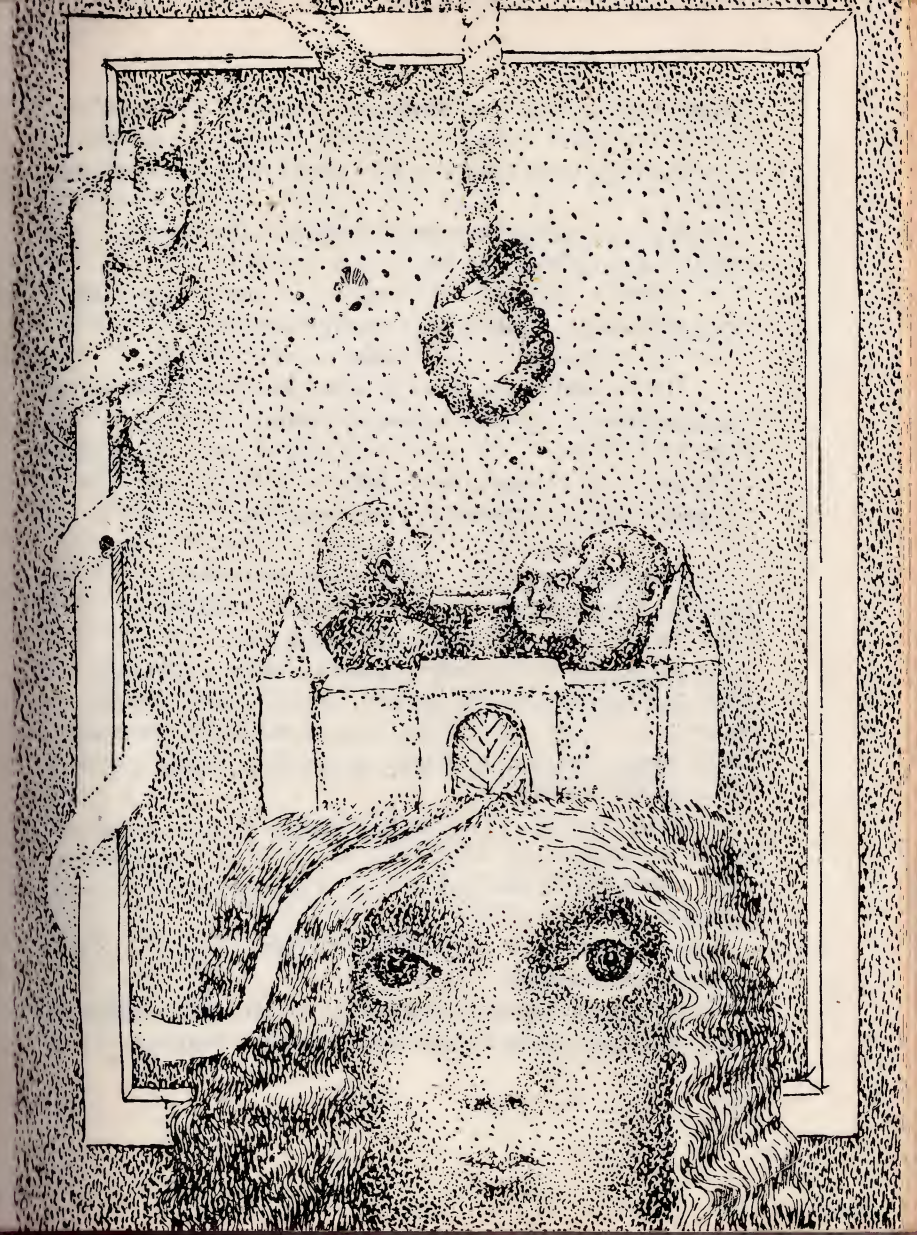
— По-моему, о яблоке. Только не понимаю, чем же оно так необычно?

— Необычно? Как! А бабочка! Вы только вообразите — вашлость разрезает плод, а внутри — фырк!

— Что «фырк»?

— Бабочка, вашлость. Изумительной красоты мотылек,— преданно глядя на владычицу, лил колокола министрейший.

За спиной Почупайлы стоял недоминистр Барздукас и ждал своей очереди. Он больно щипал себя за бороду,



смиряя кипящую в сердце радость: «Ага! Скользкой становится вершина министрейшего». Долго ль старческой ноге дрогнуть, поскользнуться. И министрейший вжик под горку!».

— Ну и где же этот фрукт? Покажи,— протянула руку королевна.— Бабочка где?

— Будет! — заверил Почупайла.— А пока созревает... как я упомянул, в желательную сторону...

— Ну, а на деле-то, на деле что есть?

— Пока, вашлость, только червячок. А из червячка, как утверждают ученые-алхимики, рано или поздно развивается бабочка,— тут министрейший и сам засомневался, неужели и вправду разовьется? — И они за это головой ручаются. А червячок уже там! Уже свое дело делает...

— Сам ты червячок! — взорвалась королевна.— Все вы грызете королевство, словно яблоко. «Фырк»... Чтоб впредь подобной чепухи ты мне не фыркал!

— А еще некий Заремба, из крепостных, мастер на все руки, придумал повозку на двух колесах. Но колеса не рядышком, а одно за другим, след в след. Этакое сооружение вроде прялки, усевшись на которое Заремба может без лошади разъезжать.

— Если старый — высечь, молодой — в солдаты! Будет знать! — разъяренная королевна махнула министрейшему, чтоб убирался, и покосилась на взъерошенную бороду Барздукаса.

Недоминистр тут же ощупал кадык, дернул головой и сделал шаг вперед.

— Поскольку ранее говорившие почтенные министры дали исчерпывающий доклад по всем вопросам, мне

остается лишь добавить о несущественных повседневных мелочах...

— Только уж мелочи-то не мельчи. Уши запылятся,— предостерегла королевна.

— Я по поводу тех троих парней... Рвутся, вашлость, горят желанием своими талантами блеснуть и всем таким прочим...

Между тем Бешула сбегал на кухню и привел Каруселлу. Фелиция спросила его:

— Что, в твоей темнице еще место есть?

— Для вас всегда найдем, ваша светлость! — сморозил Бешула.

— Отведи и охлади... Тех, что горят,— сказала Фелиция, приказала министрам удалиться, а Ксаверии махнула рукой, чтоб поставила кресло для Каруселлы.

— Ощипываю гуся, вдруг этот злыдень вихрем врывается, говорит, светлейшая меня к себе требует,— оправдывалась Каруселла, все еще снимая с себя пух.

— Подойди, подойди сюда,— поманила Фелиция свою старую кормилицу.— Хоть соврешь что-нибудь. Что на кухне, что в мире творится...

— Так ведь, светлейшая, вам и без меня врут с три короба в день.

— Да не умеют врать-то! Всё одно и то же.

— А зачем же этих юнцов в темницу? — удивилась Каруселла.— Уж такие весельчаки, будто чертями нашпигованы! Вот и Ксаверия подтвердит.

— Я говорила повелительнице,— напомнила Ксаверия.— Все трое ждут не дождутся, языки навострили.

— Ну хорошо. Иди, скажи, пусть покажутся,— согла-

силась Фелиция.— Кто красивее других соврет, службу дам, да еще на тебе женю.

— Ой, а покраснела-то! А зарделась! — хихикнула Каруселла вслед убегавшей Ксаверии.

— На меня смотри, на меня! — вспылила Фелиция.— Знаешь, ночью на меня такая тоска нашла, так тянуло удавиться... Вот тут, на браздах правления.

— Жаль, коли так,— вздохнула Каруселла.

— Что жаль? Меня жаль или что не удавилась?

— Пройдет, светлейшая, пройдет,— увернулась от ответа кухарка.

— Что пройдет? Жизнь проходит!

— Тоска, говорю, пройдет. Помучит, покрутит и отпустит. Слезы-то — дело нередкое. А не успел платочек просохнуть — глядь!— уже и повеселела. Это, светлейшая дурням да свиньям просто: наелись и довольны. А разум да сердце имея, как не плакать да не смеяться?!

— Постой, постой... Что ты мелешь! От смеха слезы, может, и бывают, но чтоб наоборот — не слыхала. Люди плачут, хнычут, нюнятся — верно. А смеяться, сама знаешь, после смерти Аштаутаса в королевстве заказано.

— Смеются! Сиротинушка ты моя владычная. Кто плачет, тот и смеется. В лесу, в поле, где не видит никто. В кулак хихикают. А то в душе смеются.

— Кто? Над кем?

— А над всем. Над собою, над запретами всякими. Или так... Кто-то палец корявый покажет. Над вами, светлость наша, тоже посмеиваются, не без этого.

— Бунтовщики! Лицемеры треклятые! Так почему же я никогда не смеюсь?

— Как! А в прошлом году, в сочельник, когда министрейший усы в кисель окунул...

— А! Чушь! Разве это смех? Так, иной раз прикинусь от скуки... для разнообразия.

— Может, вам поплакать надобно, светлейшая? Только не просто так, для безобразия, а взахлёб, как бабы ревут, чтоб потом — хоть подушку выжимай.

— Бабы? А что с этими бабами?

— Любовь... Где слаще боль найдешь. Влюбиться тебе надо, детка моя светлейшая! — когда Каруселла говорила по душáм, она даже королевну называла на «ты».— Вот посмотришь: придут к тебе и эти слезы, и веселье, какого ты и не ведала.

— В свахи метишь? — уже как бы шутя спросила Фелиция.— Ну, найди мне достойного.

— Разве бабы только достойных любят! Любят — и всё тут!

Сказав это, Каруселла, видно, вспомнила свою молодость, прикрыла глаза ладонью и заревела.

— Вот тебе на! Что с тобой? — удивилась Фелиция.

— Поцеловал он меня... сам-то уж в седле сидел — слеза по усам прокатилась... Да и не вернулся.

— Кто? Откуда?

Каруселла махнула рукой: «а-а!» — и вдруг рассмеялась.

— А смеешься-то чего?

— Так, подумала: на ресницах пух налип,— она раскрыла ладонь и показала мокрый от слез пух.— Пойду, надо гусака дощипать.

Но Фелиции, видно, понравились ее доводы.

— Погоди, не сбежит твой гусак,— сказала она.— А

что, если я возьму да послушаюсь тебя. Сядь, давай на моих кавалеров полюбуемся. Вдруг найдем похожего... на того, что в седле заплакал.

Позвонив в колокольчик, она выстроила перед собой министров и с отвращением осмотрела их с головы до шпор. Министрейший Пац-Почупайла, который когда-то мог своего соперника в ложке воды утопить, теперь так громко пыхтел и задыхался, что не мог бы и к дверям подкрасться — подслушать разговоры врагов и подчиненных. Что там о ложке воды говорить, если он теперь бороду киселем пачкает... Не жених — развалина.

Министр Шваба, в прошлом великий мастер пролезать сквозь игольное ушко, теперь и в дверь-то лишь боком протискивается. Кабы не штаны, в нем и мужчину не признаешь — настоящая разбухшая баба.

«Впрочем,— думала Каруселла,— если его каждый день вокруг дворца кочергой гонять да на хлебе и воде держать, глядишь — и ожил бы...»

Недоминистр Барздукас, умелец из щепки воз дров наломать, в своей невероятной верткости не то хребет вывихнул, не то аршин проглотил — окостенел, задрал голову и поэтому лишен был возможности подобающим образом кланяться начальству. Наверно из-за этого он, бедняга, время от времени ощупывал шею, как бы проверяя, не накинута ли на нее петля.

— Ну? — вымолвила Фелиция.— Лицемерите, господа министры! Смеяться запрещено, а вы, оказывается, тишком хихикаете, издеваетесь, когда никто не видит?!

— Мы?! — вскрикнули все разом.

— Вы, вы. Скажете, не смеетесь в душе? Не гогочете?

— Помилуйте, светлейшая. Никакой такой ощутимой

души у нас не замечалось,— испуганно оглядываясь, Барздукас пощупал шею.

— Разве только в животе когда заурчало, извиняюсь, а кому-то и послышалось невесть что,— министр Шваба сурово взглянул на Каруселлу. «Ну, погоди, старая ведьма! Я тебе не дам тут свои юбки перетряхивать!»

— Разве вашлость не видит, как мы скорбим и печалимся вместе с ней,— укоризненно качал лысиной министрейший.

— А раз печалитесь, значит и смеетесь. Недаром Каруселла так говорит.

— О господи! Светлейшая! — испугалась Каруселла,— я говорю только про себя, про людей.

— А я вот возьму и прикажу не смеяться и не плакать! — пригрозила королевна.

Пац-Почупайла с готовностью засеменил к столику, предназначенному для писаря, развернул чистый лист пергамента и обмакнул гусиное перо в чернила. Но эта лживая рабская покорность разозлила Фелицию пуще прежнего.

— Чтоб я больше ни слез, ни зубов ваших не видела! — истерично закричала она, стуча кулаками по золотым львам на подлокотниках трона.— Почему коровы, кони, свиньи никогда не смеются и не плачут!

Слово «не плачут» захлебнулось в злых слезах королевны. Фелиция достала из рукава платочек так же ловко, как Почупайла свиток, вытерла глаза и громко высморкалась. Министры стояли молчаливые, понурые, словно глиняные болваны, только Каруселла почувствовала, что именно сейчас, когда владычица силится скрыть свои

слезы, надо что-то сказать, и она сказала тоном знающей свое дело кухарки:

— Вы б лучше приказали, светлейшая, чтоб народ к горшкам крышки приладил. А то мухи в молоко падают, а масло — отвечай!

Иной раз веселое, чуткое или просто так, от чистого сердца сказанное слово становится тропинкой, посыпанной чистым белым песком. Она манит к себе проходящие мимо добрые дела.

Вошла Ксаверия и доложила, что парни к испытанию готовы и с нетерпением ожидают за дверью. И не помоги Каруселла владычице унять гнев, вылившийся наружу горькими слезами, Пранцишкус, Гервазас и Йонас, пожалуй, еще долго бы мерзли и чахли в темнице. Теперь же Фелиция, настроенная бодрее и мягче, сказала:

— Зови. А вы,— она погрозила пальцем министрам,— сидите, смотрите и завидуйте! Вот возьму да сделаю королем хоть этого... что за меня в гроб не побоялся...

Глава X

ЧУДО-НЕБЫЛИЦА

Вошли парни, смотрят — стоят три грозных министра, а в креслах две тетушки: Каруселла и еще одна, блестящая, сверкающая, не иначе как родственница королевны. А Фелиции — Фелиции, которая хоть чуточку была бы похожа на портрет в поместье Мелании, не видать. Стоят, озираются, а палач расхаживает за спинами да подзадоривает:

— Смелее, мóлодцы, смелее! Вот она ваша мечта — исполнилась. Светлейшая Фелиция соблаговолила...

А назначенный старшим Пранцишкус совсем другое под нос бормочет:

— Надувают нас, братцы, ей-богу, надувают. Другую подсунули...

Ксаверия и Каруселла подмигивают, глазами косят, показывают что-то. Но что, пойди отгадай...

— Ну? Откуда вы такие неотесанные? — не утерпев, заговорила наконец та, которая все же была Фелицией.— И поздороваться по-людски не умеете.

— Да поклонитесь же вы, идолы! Хрюкните что-нибудь!..— вполголоса ругался Бешула.

— Ваша светлость,— затараторил Швипс,— позвольте, мы еще раз войдем.

— Нет-нет, назад вам дорога заказана,— ответила королевна.— Выдержите испытание — графами сделаю, министрами. А коли нет...

— Они уже знают, вашлость, знают,— виновато промолвил Барздукас.

Ободренный его взглядом, Пранас переломился пополам и брякнул костяшками пальцев по вощеному полу:

— А я, ваша светлость, одно испытание уже выдержал. Пранцишкус Тишкус мое имя.

— Знаем, господин Пранцишкус, знаем,— смягчила тон королевна.— С сегодняшнего дня можешь называться Тишкевич: жалуем тебе дворянство.

Пранцишкус, как и тогда, в поместье Мелании, бросился к трону, упал на колени — хотел край королевского платья облобызать, да вот беда: то ли от усердия, то ли от волнения вцепился, словно пес зубами, в кружевную юбку и не отпускает. Плачет.

Владычица вздрогнула.

— Фу! Как он меня напугал! — пожаловалась она Ксаверии и Каруселле. Потом двумя пальцами взяла Пранялиса за ухо, велела встать и довольно мило сказала:

— Расскажи-ка нам, господин Тишкевич, небылицу. Да почуднее. А вы, почтенные министры, не спешите его во лжи уличить, пока господин Пранцишкус больше вас не наврет.

— Куда уж там, светлость, краше, когда и так красиво,— начал Пранас.— Пошел я как-то на куропаток охотиться. Иду через мостик, смотрю: на одном берегу заяц сидит, кому-то хвост показывает, а на другом — лиса,

припала к земле, видать, косого стережет, а как схватить его — не знает. Ну, я целюсь вдоль речки, бабахнул, вильнул стволом и обоих уложил.

Пранцишкус покосился на министров, зыркнул на королевну — все навострили уши, слушают.

— Да только мушкет мой так в плечо саданул, что я — плюх! — и в реку. Плавать-то не умею — шлеп-шлеп по воде руками. Правой — цап! — бобра за холку, левой — хвать гуся за шею.

— Ишь ты! — простодушно удивилась Каруселла, а Пранялис, еле сдерживая смех, заливал дальше:

— Вылезаю на берег, а в штанах у меня раков, окуней видимо-невидимо...

Тут рассказчик вспомнил о только что дарованном дворянстве, увидел себя богато одетым — в высоких охотничьих сапогах, в шляпе с пером. Мокрым, но до чертиков счастливым. Смех, прыгавший под рубахой, словно белка, добрался до воротника и полез наружу. В одной руке бобер, в другой — гусь, где уж тут белку удержать...

— Окуни колятся — хо-хо-хо-хо-хо... Раки щиплются — ха-ха-ха-ха... А этот боб... этот боб... этот бобер... Хе-хе-хе-хе...

Напрасно Йонас тыкал его кулаком в спину, напрасно Ксаверия с Каруселлой сверкали глазами: Пранялис, дурачок, уймись — испортишь всю музыку. Всё равно испортил.

— Не будь ты дворянином,— сердито молвила Фелиция,— приказала бы вывести да всыпать за это ржание.

Пранас в один миг сделался из красного белым и замолк.

— Так ловко стрельнул, а выходит — промахнулся,— не то пояснила, не то пожалела Ксаверия.

— Дурак. Не надо было первым начинать,— забормотал Пранас и толкнул Свечку, будто в пропасть: — Давай, твой черед.

— Я — Гервазас,— представился цыганенок.— Хоть и не из дворян, но из рода древнего. От Адама и Евы мы сеяли да растили соль. Да вот пришла беда. Посеяли вместе с солью ма-аленький камушек. А он рос, рос да и сожрал всю нашу землю. Я, конечно, вспылил — ка-ак дал ему лаптем, он — брык! — и лежит, скучает. Тут дюжина моих братьев подоспела, освежевали мы этот камень да сшили себе сапоги.

— Погоди-погоди,— не стерпел Пац-Почупайла,— как же это вы камень-то освежевали?

— Да проще простого, с пяток начали, потом переворачивали и раздели кое-как. И вдруг — туча ворон, грачей, сорок! Три года клевали эту падаль и оставили гору помета. Мы свой клочок земли за уголки берем и весь помет на крышу вытряхиваем. А крыша-то маковым зерном крыта, каждое зернышко четырьмя гвоздями прибито — выдержала, слава тебе господи. Ну и ячмень уродился на ней, я вам скажу! Воробьи зернышка клювом охватить не могли, начали звезды с неба склевывать. А я в это время уж во дворец собирался,— кивнул Гервазас королевне.— И мы на проводы озеро пива из того ячменя наварили. Вон, пьяные лягушки до сих пор квакают:

Пиво варим, пиво пьем —
Стань, Гервазас, королем.

«Стань, Гервазас, королем!» — от души желали Свечке Ксаверия, Каруселла, Швипс. Даже Фелиция помолодела,

просветлела лицом. Лихая побайка Гервазаса, словно ветром, оторвала ее от земли и, как пушинку, понесла над пестрыми нивами, над зелеными лесами, выше замков и колоколен. А министры сидели и надувались черной завистью — каждое слово Гервазаса будто клещами срывало с их мундиров золотые пуговицы и позументы.

«Чтоб ты подавился, чумазый!»

«Чтоб у тебя язык отсох!»

«Чтоб тебе башки лишиться!»

Но цыганенок как ни в чем не бывало врал-заливался:

— А как протрезвел, вспомнил: у меня же нет коня, а до дворца путь неблизкий. Ну и начал солодом, что от пива остался, поросенка откармливать. Вырос — не меньше лошади стал. Оседлал я его и поехал. На третий день в лесу заночевал. Тут ястреб — хвать моего коня за хвост и понес. Что делать? Вдруг слышу вдали — паф! паф! — рога загонщиков тру-ту-ту!.. Дворянин Пранцишкус Тишкевич с господами министрами охотится. Я кричу: «Стреляйте, господа, в ястреба, помогите верхового порося возвернуть!» Пранцишкус — пиф!, министры — паф! и все мимо.

— Ты ври, да не завирайся,— обиделся Пранас.

— Да я не завираюсь, я порося выручаю. Поэтому говорю: насыпьте-ка, господа, полбочонка пороха мне в сапог да нюхательного табака щепотку. Все головы запрокинули, ждут, что будет. А я ка-а-ак шарахну из сапога, ястреб ка-а-ак чихнет, поросенок — плюх! — и упал... министрейшему в глаз, если не ошибаюсь...

— Как так — в глаз? — сопел от злости Почупайла.— Поросенок с лошадь... х-х... и вдруг — мне в глаз... х-х...

— Но ежели министрейший после королевны самый большой в королевстве, то что для него эта свинья? Тьфу! — легко объяснил Гервазас.— А как только вернулся он во дворец, поклонился светлейшей — мой конь не конь, боров не боров — прыг! — и выскочил из глаза.

— И куда же он девался? — благосклонно спросила Фелиция.

— Видите ли, светлейшая,— в ваших юбках запутался, как в неводе. Вы позвольте, я его мигом выманю.

— Ну, наглец,— покраснела, но не смутилась королевна.— Что ж, подойди. Попробуй, вымани...

Гервазасу ничего не оставалось — подошел, присел: «Чук-чук, чук, хрюша, хрюша»,— и приподнял «копну» кружевного шелка и атласа. Юбки Фелиции напоминали капусту: такие же хрустящие, столистные — цыганенок даже удивился, разглядев не одну, как у капусты, а две «кочерыжки», обутые в серебряные башмачки.

А Фелиция, убедившись не только в остроумии, но и в невероятной смелости Гервазаса, встала, торжественно поцеловала паренька в щеку и сказала:

— Вот уж лгун так лгун. Вот будущий министр, а то и министрейший! Так как там лягушки пели? — обратилась она к Гервазасу.

Но королевский поцелуй и злобное сопение министров выжгли половину цыганской храбрости, и «лягушки» заквакали иначе:

Пиво пьем и пиво варим —
Будь скромней и тише, парень.

— Да не «тише», а «королем», черт побери, королем! — поправила Фелиция.— А теперь мне не терпится узнать, что там у третьего в мешке.

Швипс держал полосатую наволочку, в которой припас совершенно бесполезные для господ вещи по одной на брата.

— Это подарки святых, ваша светлость,— пояснил Швипс.— Мой отец, хоть и неграмотный был, да уж больно складно святых на стенах рисовал. А те обычно дарили что-нибудь в благодарность.

— Ну покажи, покажи. Ксаверия, дай ему какой-нибудь поднос что ли.

Ксаверия не нашла ничего подходящего, встала рядом с Йонасом и подставила свой передник. Рядом с ней Швипс почувствовал себя увереннее, и голос его зазвучал тверже.

— Когда батюшка изобразил рай, Адам с Евой тут же сорвали маслину с осины и подарили ему.

— Как-как? — удивилась Фелиция.— Нарисованный Адам сорвал и подарил? Осину с маслины?

— Маслину с осины,— поправил ее Швипс и с серьезным видом продолжал.— Кто эту маслину проглотит, тот уж вовек врать не сможет — глаза не дадут: правый от вранья станет одного цвета, левый — другого.

Королевна наклонилась к Каруселле и что-то шепнула, а Швипс бросил маслину в передник Ксаверии и достал из мешка тот самый картуз, что подарила ему Мелания.

— А это подарок Исидора-пахаря,— он повесил картуз на палец и нежно погладил его.— Кто будет носить его, не снимая, тот постепенно мудрее станет.

— Что же ты не носишь? — предчувствуя недоброе, спросил Шваба.

— Велик. Отец его старшему сыну прочил. А среднему отдал вот эту юбку святого Георгия.

— А святой как же? — вставила Каруселла, узнав свою старую обрезанную юбку.— Остался гол как сокол?

— Зачем же,— ответил Йонас,— батюшка его в полосатых штанах изобразил. Георгий-то радовался еще — в седле сидеть удобней. А юбку пожертвовал тому, кто хочет королевне усерднее служить. Только мне и она больно широка.

— Прекрасно, замечательно,— похвалила королевна, прикидывая в уме, кому из министров юбка придется впору.— Что еще?

— Сам сатана, Люцифер, и тот в знак благодарности отцу подарок сделал — вот яйцо жар-птицы, видите?

— Видим-видим, только не разбей! — Каруселла знала, что это за яйцо, и очень боялась, как бы из-за него не заварилась каша, которую придется расхлебывать ей и Ксаверии.

— Но высидеть жар-птицу,— не унимался Швипс,— может только палач, если тринадцать дней будет греть яйцо под мышкой.

— Этому досталось, тому досталось, а тебе-то что осталось? — торопила Швипса Каруселла.

— Мне? Семь спящих братьев, которых батюшка в одной часовне на потолке уложил, подарили подушечку сладких снов. Вот она. Отец отдал ее мне, потому что любил меня больше остальных, а сладкий сон, как он говаривал,— самый дорогой подарок.

— А где отец теперь? Где он, этот гений? — поставил подножку министрейший.

— Какой Гений? — такого имени Швипс не знал.— Атутисом его звали.

— Атутис? — поморщился Шваба.

— Атутис. . .— вспомнила королевна.

— Ага,— многозначительно закивал Почупайла.— Так-так. . .

— Да, светлейшая,— подбирался к этому разговору Швипс,— тот самый Атутис, которого слуги короля Аштаутаса силком во дворец привезли портрет владыки рисовать. Словно хорька в мешке — битого-недобитого — сюда притащили. Больше мы его не видели.

От такой дерзости у всех перехватило дыхание. Опустив глаза, ждали, что ответит Фелиция Аштаутайте.

— Так это и есть твоя чудо-небылица? — беззлобно, но как-то разочарованно спросила Фелиция.

— Вам-то, светлейшая, может, и не внове это, а у нас батюшка только один. Да и конца у сказки нет. Прими, светлейшая, от меня и моих братьев эти подарки и скажи, жив ли Атутис. Где он и как нам его вернуть!

— Испытания не выдержал, но подарки, что ж. . . приму,— ответила Фелиция.— Справлюсь о твоем отце. Готовься к третьему, последнему испытанию.

— Можешь точить свой топор! — злорадно шепнул палачу министрейший.— Головой ручаюсь — этот королеву не рассмешит.

— Подойдите все! — прервала их королевна, как только Ксаверия приблизилась к трону, неся в переднике подарки.— Яйцо жар-птицы высидит Шутлач. Расстегни рубаху да сунь его под мышку. И смотри — не застуди!

— Светлейшая! Но я же две недели не смогу черным делом заниматься!

— А зачем? Ты белое получил — радуйся. И не напейся в эти дни! — погрозила она пальцем.

Взяв маслину, королевна с удовольствием посмотрела на притихших вельмож.

— Ну? Кто из вас больше других лжет, когда я правды требую? Каруселла, как по-твоему, кому из них маслину глотать?

— По моему глупому разумению, старший должен быть и самым правдивым,— ответила кухарка.— А уж там судить не мне.

Пац-Почупайла вскочил и запротестовал:

— Но я потому и старший, что королевна, сто раз взвесив и отмерив, сделала меня министрейшим. Не разумнее ли проверить тех, кто пока лишь претендует,— он покосился на Барздукаса.— Кто пока лишь сосунок в сравнении. . .

Но недоминистр тоже был не лыком шит:

— Если светлейшей не жаль сей драгоценной маслины, я с величайшим удовольствием. Только прошу учесть — у меня глаза и без того разноцветные. Вот — зелено-желтый и желто-зеленый.

— Господа, господа! — заколыхался, словно трясина, министр Шваба.— Ну нельзя же так наивно верить в небылицы. Если на то пошло, давайте я проглочу.

— А почему же нам не верить? — отрезала королевна.— Что же, по-твоему, сын Атутиса все наврал? Я предупреждаю, не спешите произнести это слово, если не хотите, чтоб и его я приблизила к сердцу, как Герваласа. Чтоб вместе с ним у трона поставила.

— Повелительнице виднее,— на этот раз искренне сказал Барздукас, и министрейший взял наконец маслину. Старательно обтер ее платком и, словно конфетку, забросил в рот.

— Ишь, шельма! — после долгого молчания вскрикнул Пранцишкус.— Маслину в платок завернул, а сам фигу проглотил.

Фелиция строго потребовала, чтоб Пац-Почупайла показал платок. Министрейший покраснел, стал лепетать, что боялся подавиться. Теперь уж, взяв маслину двумя пальцами, чтоб всем было видно, он положил ее в рот, вытянул шею, как гусак, и, поднатужившись, проглотил. А может, и не проглотил...

— Ну как, господин Пранцишкус?

— Там она,— ответил Пранас,— за левой щекой.

Фелиция топнула и закричала:

— Сейчас же проглотить! И чтоб с этого дня никто не смел меня обманывать без моего ведома! Проглотил?

— Проглотил,— подтвердил Пранцишкус.

Шапку Исидора-пахаря королевна протянула недомиристру и приказала тут же надеть.

— В присутствии вашлости? — застонал величайший щеголь.

— Не смущайся,— успокоила королевна.— Не картуз украшает голову, а голова — картуз.

Министр Шваба уже догадывался, что эта проклятая юбка достанется ему, но попытался избавиться от этого срама:

— А мне, светлейшая, пожалуйте подушечку,— умолял он.— Ночью заснуть не могу: такие гнусные сны видятся.

— Гнусные? А утром говорил, что во сне меня на

руках носишь! Нет-нет, подушечку я себе оставлю. Возьми, Каруселла, надень чистую наволочку. А ты,— посоветовала она министру,— выстирай да погладь юбку и чтоб завтра ты был уже не Швабой...

«... а бабой»,— догадались все.

— ... а святым Георгием, королевским рыцарем.

Подарки были розданы. Фелиция, скрывая улыбку за расписным веером, умилялась картузом Барздукаса, глядела на сосредоточенного Бешулу с яйцом под мышкой и наконец сказала Ксаверии:

— Молодцам постели в башне. Да смотри, чтоб постели были мягкие, чтоб стол ломился да по усам текло. Ступайте.

Девушка поклонилась грациозно, словно косуля. Парни смахивали на трех обескураженных медведей, и когда они, склонившись, пятились к дверям, Каруселла, обняв подушечку, радостно воскликнула:

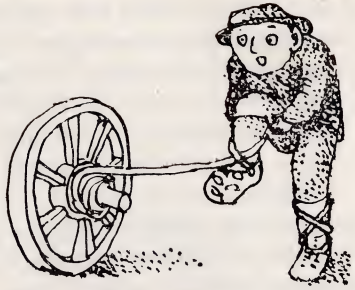
— Господа министры, люди добрые! Гляньте-ка, наша светлейшая улыбается! Повеселела, родная, повеселела!

Сдунув улыбку, как пену с молока, владычица посмотрела на Каруселлу и съязвила:

— Кто тут в чудеса не верил? Вон — только взяла подушечку — и уже сны видит! Дай сюда! А сама ступай гуся дощипывать. И вы все тоже идите,— прикрикнула она на министров,— да смотрите — берегите подарки святых.

Вельможи скрылись за одной дверью, парни — за другой. Но выйдя из тронного зала, они еще долго чувствовали спинами злобные взгляды министров. Казалось, что эти мстительные взгляды прожигают дыры в их сермягах, и сквозь прорехи добираются теперь до тела ледяные сквозняки подземелий.

Глава XI



НОГА В КОЛЕСЕ, НОГА В КОЛЕСЕ...

«Подумать только,— удивлялась Фелиция,— сколько этот парень узелков затянул! И про своего отца так смело ввернул, и насчет святых ловко соврал, а главное, не кривлялся, не ломался, а взял да превратил вельмож в шутов. И полача заодно!»

Конечно, не догадайся королевна, куда гнёт Йонас, не пожелай она посмеяться над своими министрами, ничего путного из этой сказки не вышло бы. Но она давненько ломала голову, как проучить вельмож-пустобрехов, наказать их за лицемерие, за гризню между собой, за мошенничество, надувательства и за множество иных повадок, что, по словам Каруселлы,— плоды того же дерева лжи.

Иногда, рассердившись, Фелиция представляла себе, как она однажды кликнет стражу, повелит схватить этих негодяев и отдать в каторжные работы, запретив говорить им малейшую правду. Будешь с голода подыхать — жалуйся, что вот-вот от обжорства лопнешь, изнемоги, камни дробя — божись, что руки чешутся, работы просят, что молот сам над головой взлетает. Захочешь на

сотника жаловаться — хвали, рассыпайся мелким бесом, дескать, добрее человека в жизни не видывал, дескать, не сотник, а брат родной.

Интересно, смог бы сытый, одетый человек выжить, не говоря и не слыша ни слова правды?

Но сама королевна лгала не меньше министров. Даже себя обманывала, твердя, что истосковалась по правде. Недаром прятала улыбку за веером! Да что там улыбка — теперь, глядя на Швабу в юбке или на Барздукаса, который под этим картузом казался грибной ножкой, королевна хваталась за стены, чтоб от смеха не упасть, но изо всех сил старалась не показывать этого Каруселле и Ксаверии.

Атутис, конечно, хитер, рассуждала Фелиция, но она-то еще хитрее: вот поссмеется над министрами вволю, а тогда и Швипса накажет за его вопиющую наглость. Чем еще развеселит он королевну, если у нее и так щеки от смеха ноют?

— Пранцишкус, кончай жрать, давай думать! — прикрикнул на Тишкуса Гервазас.— Что бы такое Швипсу отмочить, чтоб она рассмеялась?

Свечка и Пранас уже были облачены в бархатные панталоны, сюртуки хорошего сукна, подпоясаны серебряными поясами и благоухали лавандой. И только Йонас по-прежнему оставался в потертой одежонке, девятый день питался крошками, ночью глаз не смыкал, все ломал голову, что такое смех, откуда он берется и как им тронуть черствое сердце королевны.

— Я б на месте Швипса,— сказал Пранцишкус,— пал бы светлейшая в ноги, получил свои розги — и давай бог ноги!

Он давно уже насытился, но продолжал жевать кабанину для того, чтобы потом взять зубочистку слоновой кости и по-барски ковырять в зубах. Он видел, как это делают министры: посасывая, посапывая, показывая, сколько у них золота во рту...

— Ну! — не унимался Гервазас,— давай вспомним что-нибудь веселенькое: сказку, байку, проделку. Пранас, выковырни чего-нибудь!

— Мы как-то чуть со смеху не лопнули, когда одному пастуху, ху-ху-ху...

— Ты сначала расскажи, потом хихикай.

— Он заснул, а мы ему, босому, между пальцами паклю напихали и подожгли, ха-ха-ха...

«Тебя-то, небось, и подожгли»,— догадался Гервазас и вспомнил очень похожий случай, когда мышке больно, а кот смеется:

— Три мужика подвыпили на ярмарке и домой поехали. Вот один говорит: «Братцы! А почему бы нам не спеть?» Ге ему: «Давай затягивай, а мы подхватим». Запевала сидел на телеге, свесив ноги. Опорки-то у лаптей развязались, их на ось и намотало. Тот как заорет: «Нога в колесе! Нога в колесе!» А те двое:

«Но-о-женька, но-о-о-женька в колесике-ё!» Расскажи королевне, а?

Но все молчали, словно мух наглотались. Пранас принялся ковырять в зубах, Йонас со Свечкой ходили вокруг стола. Вдруг распахнулась дверь, и вбежала сияющая Ксаверия.

— Новость для вас! Новость! Смотрите! Смотрите! — размахивала она над головой белым узелком.

— Может, об отце? — заволновался Швипс.

Ксаверия покачала головой.

— А почему ты решил, что это для тебя? — Пранцишкус, получив барские башмаки, пожаловался, что они немного жмут, и теперь решил, что Ксаверия принесла другие.— Присаживайтесь, барышня,— указал он девушке на край скамейки.

— Да разве тут усидишь! Разве устоишь! — ответила она.— Фелиция со смеху умирает! Ну просто корчится, трясется! За меня хватается, за тетку...

— Ну да? — не веря своим ушам, спросил Гервазас.

Ксаверия ликовала. Одного целуя, другого обнимая, она рассказала, что лучших шутов, чем министры, и быть не может. Шваба как баба, Барздукас ни дать ни взять сморчок под листом, а Пац-Почупайла, как слепой, в черных очках щеголяет. Фелиция, глядя на них, повеселела, помолодела, никаких испытаний больше не требует и посылает Швипсу такое же господское платье, как у Пранаса и Свечки.

Благодаря Швипсу в королевстве отменен траур!

— Ура! — воскликнул Гервазас и сходу придумал песенку:

— За здоровье королевны
Выпьем чая непременно,
А потом пивка попьем
С нашим Швипсом-королем!

— Без шуток! Без шуток! — перебила Ксаверия.— Это еще не всё. Фелиция обмолвилась тетушке, что хочет стать ко-ро-ле-вой. Каруселла уже портных ищет. Так что одному из вас — свататься.

— Я бы ума лишился,— простонал Пранас, явно завидуя Йонасу.

— Чего-чего лишился? — переспросил цыганенок.— Ты дворянин — вот и не зевай. Зови меня в сваты как самого говорливого, а станешь королем — произведешь меня в почупайлы.

Неделю спустя Фелиции надоело смеяться, и она выкинула штуку похлеще: всем дала понять, что желает выйти замуж. За молодого ли, за старого — не сказала: пусть и стар и мал из кожи лезут. Кто от счастья, кто от страха, а кто от зависти.

Каруселла разыскала умельца, который ночью, словно крыса, просверлил буравчиком потолок в комнате, где жили парни. И так ловко — прямо в том месте, где была труба нарисованного архангела. Теперь королевна могла улечься на медвежью шкуру и смотреть, что делают, слушать, что говорят ее будущие женихи.

— Ну, раз Йонас ее рассмешил,— говорил Пранцишкус,— значит, ему и достанется эта честь.

— Сначала пусть скажет, куда моего батюшку девала,— отозвался Швипс.— Лучше уж «пиво варим, пиво пьем — стань, Гервазас, королем».

— Не-е-е,— протянул Свечка, поднимая с пола лосиную шкуру, чтоб Швипс мог за ней переодеться.— Я знаю, что буду делать. Поклонюсь королевне, как тут Пранас учил,— светлейшая, такая-сякая, отдайте за меня Ксаверию.

— Ого! — воскликнула та. Она стояла отвернувшись,

ждала, пока переоденется Швипс.— А меня ты спросил? Вдруг у меня на примете кто-нибудь есть?

Пранялис нисколько не сомневался, что этот «кто-нибудь» — он, поэтому запросто ткнул девушку в бок:

— А чего ж я так спокойно в гробу лежал? — похвастался он.— Да потому, что еще у Мелании заметил — я тебе в глазок запал.

— Запал, как тот поросенок министрейшему,— ответила Ксаверия.

Пранас нахмурился — пытался раскусить эту шутку, но тут Гервазас опустил шкуру и воскликнул:

— Ну! Вы только посмотрите на него!

Ксаверия обернулась и замерла. Швипс-то — красавец! Надев башмаки, он стал выше, подпоясавшись, стал стройнее, а голубые глаза над синим сюртуком фиалками зацвели. Даже Пранялис, соображавший туго и неохотно, вдруг понял: вот он — «кто-нибудь»...

В дверь постучали. Вошел Шваба. Нет, юбка не сделала его бабой — напротив: министр, не бривший уже несколько дней, походил на ежа. Его колючая борода бросалась в глаза гораздо сильнее, чем клетчатая юбка, скрывающая кривые ноги.

— Ну, добрые молодцы, если не ошибаюсь! — воскликнул он, едва переступив порог.— Спешил принести вам добрую весть первым, да вижу — Ксаверия опередила. Сидите, сидите, не смущайтесь,— дружески похлопал он Пранцишкуса по плечу.— Пейте, ешьте, меня угощайте.

— Просим, ваша милость, просим.— Тишкус на глазах превращался в Тишкевича.— Ксаверия, усаживай своих кавалеров.

Стол ломился от вина, копченой кабанины, рыбы, пи-

рожных, какие ест сама королевна. Но министр, ни к чему не притрагиваясь, сказал:

— Значит, знаете, что творится? Слыхали? Скоро у нас будет король-зять!

— Вот мы и говорим — мурашки по спине,— признался Пранас.— Все думаем, кому же из нас этот хомут достанется.

— Хомут?! — возмутился Шваба.— По-вашему, корона — это хомут?

— Не корона, а Фе...— ляпнул бы Тишкус, не перебеги ему дорогу Свечка.

— Господин Тишкевич скромничает, почему-то хомутом себя считает...

— Не только себя,— чесал затылок Пранас,— все мы пни неотесанные в сравнении...

— Кто? Вы? Вы — пень?! — выпучил глаза Шваба.— Вы? Или вы?

— Да я не столько о себе, сколько...— мямлил Тишкус, но министр уже не слушал. Он вскочил и заревел:

— Да вы истории не знаете! Вот в чем беда! Чуть ли не младенцев обручали с пожилыми принцессами, седыми вдовами — и королевство процветало! А нам давно пора иметь, если не ошибаюсь!.. А временно и я могу бразды правления подержать, если б, конечно, вместо министрейшего...

— А куда же Почупайлу? — вставила Ксаверия.

— Эту развалину, этого лживого мошенника?! — но министр, испугавшись, что Ксаверия может передать его слова кому не надо, пошел на попятный: — Впрочем, это не мое дело, это дело будущего короля и Фелиции.

— Я бы, может, и не против,— сказал Пранас, потя-

нувшись за пирожным,— да вот неясно: королевна сама выберет... или мы должны свататься...

— Конечно, вы! — грохотал Шваба.— Неужели светлейшая придет и, опустив глаза, будет просить вашей руки?

— Так-то оно так,— облизнулся жених,— только...

Но министр, войдя в раж, отверг всякие колебания и дрожащими руками выстроил на столе четыре бокала.

— Все вы молоды, красивы, остроумны. Я предлагаю бросить жребий,— Шваба разлил вино.— У кого на дне бокала окажется этот перстень,— он снял с пальца и показал,— тот и посватается к светлейшей. Нижайше прошу всех отвернуться. Барышня Ксаверия, проследите, чтоб никто не подглядывал.

Подождав, пока парни отвернутся к стене, Шваба выудил из-под юбки пузырек не больше ореха, наполненный белым порошком. Руки его так дрожали, словно он пирог маком посыпал. И все же яд равными долями был всыпан в каждый бокал, а то, что попало на стол, Шваба нагнулся и сдул. Пузырек и перстень исчезли за обшлагом рукава.

Пока он готовил жребий, Гервазас шепнул Йонасу:

— Ну что, пьем или не пьем?

— Я — нет,— ответил тот.

— Не дай бог, если Профанас королем станет.

— Думаешь, ты лучше будешь? — прошептала Ксаверия.

— А они чего-то шушукаются,— громко пожаловался Пранас.— Готово?

— Сейчас, сейчас,— откликнулся Шваба.— Сейчас только налью себе. И... за успешное, так сказать, сватовство, если не ошибаюсь. Пьем до дна! В бокалы не смотреть — вино густое, перстня всё равно не увидите.

— Хорошо бы без перстня,— сказал Швипс, разглядывая хрустальный бокал,— я все равно свататься не буду.

— Это почему же? — спросил Шваба.— Что за причина?

— Королевна знает, догадывается. Мы с Ксаверией просто так выпьем, друг за друга...

— Ну что ж,— согласился отравитель.— Только позвольте, я перелью ваше вино в другой... вот... Видите? — показал он всем.— В вашем бокале перстня не было! Значит, не судьба. Ваше здоровье!

Только они поднесли бокалы к губам, а Пранцишкус даже успел глоточек отпить, в комнату ввалился Барздукас в меланьином картузе набекрень.

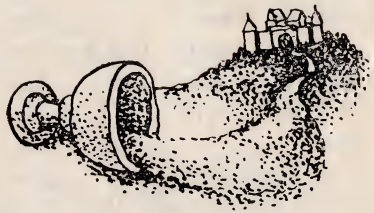
— Ты куда пропал?! — крикнул он Швабе.— Светлейшая по твоей юбке соскучилась. Лети! — А парням деликатно добавил: — Простите, господа. Сначала, добрый день.

— Хам! — буркнул Шваба и, почесывая щетинистый подбородок, стал напряженно думать, как завершить начатое дело.

— Пейте, братцы, без меня,— сказал он и поспешил к Фелиции.

Соскучилась ли по нему королевна или это было расчетливое вранье Барздукаса, так и осталось неизвестным.

Глава XII



ВЕРЕВКА

— Погодите! Не пейте, бога ради! — воскликнул Барздукас и взял бокал Швабы.— Смотрите, господа, то же стекло, а сравните цвет... Вы пьете яд, милостивые государи!

Ксаверия понюхала — в самом деле... Точно так же пахло в кухне, когда тетушка Каруселла травила крыс. Они сгрызали кусочек сыра или пирога, посыпанный этим ядом, и мгновенно засыпали.

— А я уже... глотнул,— прошептал Пранас и, схватившись за живот, плюхнулся в кресло.— Спа... спасите... Бра... братцы!

— В ушах звенит? — как заправской доктор расспрашивал Барздукас. Одной рукой он ощупывал свою шею, другой — отыскивал у Пранаса пульс.

— Кузнечики, кузнечики. Свир-свир-свир...

— Язык заплетается?

— Заплепле...— испуганно подтвердил Пранас.

— Теперь главное — не засни. А вы пощипывайте. Тормошите. Встряхивайте его!

Отравленный Пранцишкус заблеял бараном, забулькал и вопросительно впился глазами в недоминистра.

— Ты что, Пранялис? — сочувственно наклонился к нему Швипс.— Повтори.

Пранцишкус опять забулькал.

— Ага,— Гервазас понимал его лучше.— Пранас спрашивает,— объяснил он Барздукасу,— сможет ли он еще стать королем.

— Королем? — недоминистр гордо вскинул голову.— Пусть не тревожится. Королем стану я. Это между нами, Ксаверия...

Йонас и Свечка только плечами пожали — царствуй, коли сможешь. Мы тебе не помеха. Но Пранцишкус, хоть и отравленный, вдруг вскочил и, размахивая кулаками, начал прижимать Барздукаса к стене.

— Переведите, господа. Чего он бесится?

— Чего переводить? И так ясно,— ответил Гервазас.— Тишкевич спрашивает, почему именно вы. Как это понимать?

— Ущипните, ущипните его! — советовал недоминистр.— И не забывайте — я спас вам жизнь! До скорого, господа! До скорого, барышня!

Когда Барздукас проскользнул в дверь, друзья кое-как успокоили Пранаса, стерли с его губ зеленую пену и посоветовали меньше булькать. Неужели он не понимает, что министры будут всеми силами препятствовать их восшествию на трон.

— Теперь они будут вас всячески травить,— пугала Ксаверия.

Опечаленный Пранцишкус вдруг хлюпнул носом и, потеряв всякую упругость в суставах, рухнул на пол.

Ксаверия кричит:

— Ущипните, ущипните!..

А за что его щипать, никто не знает. Пранялис храпит, спит — и все тут. Гервазас закинул его руку себе на шею, помог встать и как гаркнет в ухо:

— Не спи! Пляши! Ногами чеши!

Нет. Не признает Пранас такой музыки, мотает головой, показывает, что жив еще, а танцевать — нет...

— Пранялис,— заорал в другое ухо Швипс,— у тебя пакля между пальцами горит!

Тот сразу ожил, задрыгал ногами — стал гасить горящие подошвы. Все повеселели и, будто помогая Пранасу, пустились в пляс.

Они даже не заметили, как в комнату вошел, важно неся свою пышную бороду, министрейший. У него за спиной ежился Шутлач с яйцом жар-птицы под мышкой.

— Видал?! — возмущенно обратился Почупайла к палачу.— Они тут веселятся как ни в чем не бывало!

— А что случилось? — спросила Ксаверия.— Почему бы нам не веселиться?

— Подсунул королевне эту грязную подушку, набитую всякой дрянью. А из нее выполз какой-то жук...

— Жук? — изумился Йонас.

— Да-да, жук. Сам знаешь,— гудел министрейший, распушив брови. А Ксаверии, чтоб не заступалась за этих негодяев, добавил: — Светлейшая Фелиция с ума сходит, умирает... кошмар!

Но Ксаверия, все еще не веря, вдруг воскликнула резко и требовательно:

— А почему у вас глаза разные? Один такой, другой этакий!

— А потому,— министр мгновенно нацепил на нос черные очки.— Потому, что жук этот теперь у королевны в ухе!

Конечно, Пац-Почупайла врал, но что с ним поделаешь.

— А может, вовсе и не жук,— поддакивая своему

господину, плел Бешула,— может, что пострашнее — крокозябра, раз уж такое творится!

— Можешь не объяснять! Скажи, что их ждет и убирайся,— толкнул его вельможа.

— Мне приказано вас, в некотором роде... повесить,— застенчиво, почти извиняясь, объявил Бешула, а от себя еще добавил: — Если, конечно...

— Никаких «если»! — словно топором саданул министрейший.— Не мешкай — намыливай веревку.

— Позвольте, я зайду к королевне! — воскликнула Ксаверия, но Почупайла отпихнул ее, и, приоткрыв дверь, крикнул стражникам:

— Никого не впускать, не выпускать! Кроме палача!

Стражники послушно застучали алебардами, и министрейший, шагнув за порог, усмехнулся:

— Ну прощайте, сопляки! Прощайте!

Пац-Почупайла исчез, а Бешула остался. К нему и бросился Йонас:

— В чем виноват Гервазас?! Пранцишкус? Ксаверия?! Подушка-то моя!

— Насчет Ксаверии приказано только не выпускать,— ответил Шутлач, всем своим видом показывая, какой он старательный, с каким усердием греет яйцо «жар-птицы».

— Ну хоть Каруселлу позови,— попросила Ксаверия.

— Не могу. Сами слышали.

— Вы сказали «если»,— напомнил Гервазас.— На что мы можем надеяться?

— Ну, если за ночь этот жук вылезет из уха, тогда... Но мне уж велено ваше последнее желание узнать.

Швипс попросил разрешения подумать. Бешула согласился:

— Пока веревки найду, пока петли завяжу...

Он вышел. Возмущенный Пранас что-то мычал, еле ворочая языком, мол, не смеют они дворянина...

— Перестань, Пранялис,— словно малышу, сказала Ксаверия.— Перед смертью и ты смешным становишься.

— А я бы попропро... меня таким плевым име... нем не на... зывзыв! — все больше возмущался и размахивал руками Пранас.

— Их светлость просят, чтоб мы его так по-деревенски не называли,— перевел Гервазас.

— Давайте, братцы, думать, как дальше быть,— Швипс выглянул в окно.— До земли саженей двенадцать. Из чего бы веревку свить? Из рубахи? Из скатерти? Не хватит.

— Но у нас есть последнее желание,— напомнила Ксаверия.

— Господин палач, принесите нам конопли побольше!..— засмеялся Гервазас.— Мы хотим свить веревочку и смыться.

— А зачем вить, время тратить?! — сказал Йонас, ухватившись за добрую мысль.— Веревки и попросим. Дайте нам наши петли, примерим, попривыкнем. Знать будем, где чья.

— Выпить предложим — и вот посмотрите,— подхватила Ксаверия,— он принесет.

— От... от... отравить надо... гада! — начал приходить в себя Пранцишкус.

— Этого отравишь, другой повесит,— сказала Ксаверия.— Только у другого веревок не допросишься.

Они даже не успели обсудить свой план, как загремел дверной замок и к ним протиснулся Шутлач — приволок огромную книгу в кожаном переплете — свод законов.

— Вот такие пироги... К светлейшей и даже к Каруселле министры меня и близко не подпускают. Но одну зацепочку я для вас откопал. Закон нашел!

Швипс подскочил и помог раскрыть книгу, Пранас сдвинул со стола кабанину и бокалы, все обступили Бешулу.

— «Если высочайшей особе зло причинено не самим обвиняемым, а его лошадью, собакой, быком и так далее,— водя грязным ногтем по строчкам, читал палач, каждое следующее слово произнося громче предыдущего и тем самым вселяя надежду,— то ни один из них в подобном случае повешению не подлежит...»

— Ура-а-а! — захлопала в ладоши Ксаверия.

— Ура! — воскликнули остальные.

— Качать господина палача! — закричал Пранас, хватая Бешулу за ноги.— До потолка! До потолка!

— Погодите! Эй! Бросьте! — извивался Бешула.— Яйцо, господа! Яйцо!

Высвободившись, он продолжал водить пальцем по книге: «... повешению не подлежат, а должны быть утоплены в одном мешке с виновным животным и камнем, величиной с лошадиную голову». Такие пироги... Дурацкий закон, доложу я вам. Жук или собака — это еще ладно. Но как же втиснешь в мешок лошадь или быка рогатого?..

— Их трое, а жук-то один,— ухватилась за соломинку Ксаверия, но палач осклабился, зажмурившись спрятал бегающие глазки и сказал:

— Не трое — четверо, барышня. Министрейший приказал и тебя...

— Как? За что?! — добивался справедливости Швипс,

хватая палача за грудки.— Вот, Шваба оставил отравленное вино. Я могу выпить, если Фелиция этого хочет...

— Это не Фелиция, это министры... их западня,— бормотал Гервазас.

— Я дворянин! Тишкевич! — бил себя в грудь Пранас.— Напомните им, коль они забыли. Дворян не топят!

— Ничего, не унывайте,— жадно глядя на вино, всё нежнее и нежнее мурлыкал палач.— Вода уже теплая. Вчера купался — вылезать не хочется. А если у вас какое желание есть — милости просим.

— Тогда хоть принесите нам эти мешки,— будто нехотя сказал Йонас.— Примерим, попривыкнем. Ксаверия, если надо, завязочки пришьет.

Чтоб не дать Бешуле подумать, Гервазас протянул ему бокал Швабы.— Глаточек вина? Не бойтесь — это не отравлено.

— Да я не боюсь, сквозь усы процедится,— ответил Шутлач.— Растрогали вы меня,— признался он и выпил.— Значит, надо четыре мешка найти. Хотя вы не толстые, можно и по двое в мешок...

— Нет-нет,— Гервазас налил ему еще.— Сколько положено, столько и несите. С законом шутки плохи.

— Я ведь тоже был шутом,— похвалился Бешула, допивая третий или четвертый бокал.— Бывало, если стекло не слишком толстое, выпивал и тут-же — хряп-хряп! — бокалом закусывал — и ничего! Черт не брал. А как постарел Аштаутас — жадным стал. Стаканов жалел... На балу как-то принес я иголку с ниткой. Как заметили меня господа, я — вжик-вжик! — зашил себе губы и сижу. Щиплет, конечно, но терпеть можно. Королю понравилось. Говорит — так теперь и ходи, зашитый. Говорит — жало-

ванье прибавлю, буду показывать тебя всем, кто язык за зубами держать не умеет. Хочу спросить, как же хлеб есть, как вино пить? А не могу — губы зашиты. И стал палачом. Черт побери! И не жалейте вы этой жизни, не убивайтесь! Властей боишься, жены боишься, теперь еще яйцо это на мою голову. Тьфу! Вот такие пироги...

Налил себе еще, выпил и ушел.

— Из четырех мешков вряд ли что выйдет,— вздохнул Пранцишкус.

— Скатерть порвем, рубашки,— как-то лениво, не веря сам себе, сказал Гервазас.

После рассказов Шутлача они чувствовали себя уже в мешках. Поэтому Ксаверия грустно вздохнула и предложила:

— А может, выпьем вино Швабы да уснем?

Все молчали. Ксаверия подняла бокал, вытерла слезы, понюхала вино, еще раз вопросительно взглянула на Швипса. Тот словно очнулся, вскочил, вырвал у Ксаверии яд и опрокинул все бокалы.

— Чтоб и соблазна не было.

— Говорите что-нибудь,— заливаясь слезами, просила девушка.— Что-нибудь! Говорите! Мне страшно!

— Эх, знали бы вы, какие я кнуты плел! — лежа на скамье, тосковал по детству Пранас.— Каждые три пальца — узелок. Как четки, только всё тоньше и тоньше... А на конце хлопушка. Паф! Паф! Вот житуха была!

Странно, но слова Пранялиса растрогали остальных больше, чем его самого. Ксаверия плакала, уткнувшись в грудь Швипса, а тот не успевал утирать кулаком одну слезу, как тут же наворачивалась другая. Гервазас вспо-

минал бледного господинчика (Чахлого, как прозвал его Швипс), который в первый же день задал ему загадку:

— Умылась невылитым, невыснеженным, утерлась неспряденным, несотканным. Как это получилось?

— Может, молоком или пивом умылась, а утерлась, например, шкуркой заячьей,— ответил Гервазас.

— Голова работает,— вроде бы похвалил ученый муж, но Гервазас и сам понимал, что не разгадал загадку.

А теперь Ксаверия умывается слезами и волосами утирается. Высунув голову в окно, цыганенок подумал, что неспряденным, несотканным может быть ветер. Теплый, западный, он быстро сушил мокрые щеки Гервазаса.

Снова загремел замок, и вошел вспотевший от забот Шутлач.

— Неувязочка, братцы,— засмущался он.— Королевские мешки подевались куда-то, а может, и кончились. Я бы вам свои одолжил, да жена картошку для посева набрала. Все-то посадили, а я с этим яйцом...

— Так что же теперь? — спросил Пранас.

— Ну, не мешки, так я вам топор принес. Лезвие только, черт его подери, хоть до Риги верхом. Вот вам доброе точило. Один поточит, другой — время-то и пройдет.

— Лучше повесьте — и дело с концом,— все еще пытался хитрить Швипс.

— Министрейший приказал рубить! Вам же лучше! — уверял Шутлач, ибо видел, что на топор никто и глядеть не хочет.— Ни вам в петле задыхаться, ни вам в холодной воде бултыхаться, а?

— Что поделаешь, оставьте,— согласился Йонас.

— А как вы рубить-то станете? — поинтересовался Гервазас.— Вы же яйцо раздавите.

— Хе-хе-хе,— затрясся Бешула, он ждал этого вопроса.— Яйцо я другому всучил... брату по ремеслу. Топора он держать не может, а тепло в теле еще есть. Ну, братцы, спокойной ночи. До утра...

Шутлач оставил на столе топор и точило, а сам вышел.

— Теперь точно конец. Зря вылил яд,— жалела Ксаверия.

— Ни черта! — храбрился Швипс.— Теперь у нас есть топор!

— Из топора веревку не совьешь,— произнес Пранас тоном знатока.

— А мы встанем у дверей. Пусть попробуют! — Швипс обеими руками занес над головой топор, показывая, что ожидает тех, кто сунется в дверь.

— Тс-с,— предупредила Ксаверия и указала глазами на потолок.— Только не смотрите вверх! Там дыра. По-моему, из нее что-то...

— А мы что? Мы ничего,— громко сказал Йонас,— мы топор точим.

— Королевна велела, чтоб по усам текло, у нас и течет,— кому-то невидимому пояснил Пранас, усаживаясь за стол.

Гервазас как ни в чем не бывало запел:

— Нога в колесе, нога в колесе, но-о-оженька в коле-е-сике.

Сверху, из трубы архангела, упала длинная линялая веревка. Должно быть, та самая, на которой Каруселла сушила белье.

Глава XIII

А ПОТОМ ХОТЬ ПОТОП

Разрешив Каруселле вызволить осужденных из башни, Фелиция всю ночь не могла заснуть. Что-то незнакомое, доброе, приятное шевелилось в груди, будто в самом сердце дышала, чистила перышки, а может, и вила себе гнездо маленькая тёплая пичуга.

«Отдам этот проклятый трон доброму умному человеку,— сладко мечтала Фелиция,— запрусь в отдаленном поместье и стану таких вот неиспорченных юнцов учить хорошим манерам, латыни... Посмотрю, как народ живет, любовь простых людей заслужу... может, счастливой стану».

А пока что, сердись — не сердись, завидуй — не завидуй, а надо признаться, что эти крепостные гораздо счастливее, чем она. Странно. Она тоже была молодой, наивной, но разве умела она так смеяться и даже других веселить? А может, счастье — это мечты, надежды, желания? Узник мечтает о свободе, больной — о здоровье, голодный — сытно поесть, голый — приодеться, бездомный — обрести крышу над головой, слуга — стать госпо-

дином. А о чем же может мечтать господин? Стать королем? Так чего же тогда желать королеве? В самом деле, чего?

«Поздно быть молодой, поздно быть красивой,— говорила как-то Каруселла,— а вот доброй стать — никогда не поздно».

— Никогда не поздно, никогда не поздно,— несколько раз прошептала Фелиция и уже начала было сладко засыпать, как в голове, а может, и в душе, по стариковски откашлялся и заговорил покойный Аштаутас:

— Дура ты, дура! Ведь эти сопляки, эти «юнцы неиспорченные» детям и внукам будут рассказывать, как они обвели вокруг пальца и тебя, и весь род королевский! Как свиней у тебя под юбками искали, как палача заставили тухлое яйцо высиживать, министров шутами сделали... Если уж тебе осточертел Шваба, Почупайла и другие, ты упустила чудный повод избавиться от них. Они бы извели этих парней, а позднее ты свернула бы шеи им — за то, что против тебя пошли... А ты! Помогла Йонасу бежать! Атутису, отец которого мою смерть поторопил! Опомнись, Фелиция!

— Не хочу больше! Хватит! — ворочалась в шелках и пуху королевна.— Не желаю быть волком, овец пасущим, как ты любил говорить. Надоело это собачье виляние хвостами, эти вздыбленные загривки, оскаленные клыки — все надоело.

— Вырви эти клыки, накрути им хвосты, укажи каждому псу его место! Старых молодыми замени. Не жди, пока они обнаглеют и тебя на дерево загонят!

Пичуга, пригревшаяся на сердце, испуганно съежилась и вдруг — фьють! — улетела. А Фелиция до самой зари

спорила сама с собой, пока не придумала, как из вражды министров с парнями извлечь для себя маленькое развлечение. Только тогда король Аштаутас довольно хмыкнул и замолк, а королевна уснула и увидела во сне, как на сердце ей влезла крыса и принялась грызть собственный хвост. Фелиция заскрипела зубами.

Утром она строго отчитала Каруселлу за то, что из кухни в ее покои снова пробралась крыса.

Пац-Почупайла, Шваба и Барздукас явились во дворец разряженные, словно на коронацию. Министр был в цветасном долгополом кафтане, почти скрывавшем юбку, недоминистр вставил в шапку Исидора упругий обруч, и теперь она не выглядела такой раскисшей.

— Хорошенько взвесьте каждое слово, господа! — предупредил Пац-Почупайла.— Когда ты говоришь с королевной,— зашептал он Барздукасу,— за версту видно, как у тебя поджилки трясутся. Хоть сегодня ноги расставь, упрись, не дрожи.

— А с чего мне дрожать? — громко и гордо ответил тот.— Я только сказал им, что Шваба вино отравил.

— Замолчи! — испуганно огляделся министр.— Перед Фелицией мы должны держаться заодно.

— Шутлач! — буркнул министрейший, увидев качавшегося Бешулу.

Все трое сделали счастливые лица, принялись разглядывать свои блестящие сапоги и говорить что-то приятное о повелительнице. Шутлач приблизился, встал у Почупайлы за спиной словно собака, съевшая чужую кашу, и застонал:

— Ваша милость...

Министры и слышать не хотели.

Шутлач так и сяк окликал министрейшего, пока, наконец, тот не обернулся:

— А?

— Осмелюсь доложить, не смог вашего приказа выполнить.

— Какого приказа?

— Насчет сопляков. Сбежали, дьяволы! На рассвете прихожу, монаха привел со святыми дарами, глядь — пусто, сгинули. Оказывается, у них веревка была.

— Что? Какая веревка?! — министрейший даже очки поднял от удивления.— Ты, я смотрю, с утра набрался?

— Эти парни, которых казнить велено...

— Казнить? Чего ради?! — все громче выкрикивал Почупайла.— Ты рехнулся! Кто ж тебе приказывал?!

— Так ведь вчера, когда жук в ухо... Сперва ваша милость повесить приказали, а министр Шваба сказал, топором лучше...

— Какой жук? При чем тут жук? Что он тут плетет?! — взялся за дело Барздукас.— Приди в себя, не то я прикажу тебя самого под топор...

— Понял, понял. Опять я виноват,— забормотал Бешула, видя, что министры решили все свалить на него.

— Ступай, опохмелись,— советовал Пац-Почупайла.— Только смотри, яйцо не застуди! Сам-то озяб, синий, как слива.

— Пойду шубу надену,— стуча от страха зубами, ответил Бешула. Он вспомнил, что яйцо еще у «брата по ремеслу», у того, что топор не в силах поднять. Надо яйцо забрать поскорее.

— Мокрая курица,— прошипел Шваба вслед Шутлачу.— Не пора ли на него ястреба спускать?

— Господа! Господа! Светлейшая! — снова первым заметил опасность министрейший. Все трое подсластили лица и почтительно поклонились, каждый по мере сил.

— Чудесное утро, не так ли? — промолвила Фелиция.— А чем вы озабочены? Или мне кажется?

— О пустяки, ваша светлость! — воскликнул Почупайла.— Приятно слышать ваш бодрый голос, а еще приятнее видеть, что вы сегодня просто сказочно очаровательны!

— Да? Так сними очки, если не врешь,— сказала королевна, усаживаясь на трон и крепко сжимая позолоченных львов. Пот с королевских ладоней за долгие годы сильно разъел их морды, и львы больше походили на собак.

— Чем порадуете в такую рань? — спросила Фелиция.— Какие новости?

— Исключительные! — восторженно рявкнул министрейший. Он снял очки, но, зажмурившись от яркого света, снова надел их.— Особенно интересное сообщение приготовил для вас наш ртутеподобный Барздукас.

Тот второпях ощупал себя: шапка на месте, голова тоже, кадык утопает в кружевах, можно начинать. И Барздукас начал:

— Светлейшая! В ваших конюшнях выращивается невиданное доселе животное: не то жеребчик, не то теленок. Дает молоко, мясо, шерсть. Словом, способен прокормить, одеть, а оседланный — нести хорошо вооруженного всадника.

— Да, а где же палач? — спохватилась Фелиция.— Жар-птицу не высидел?

— Увы, пока нет. Греет,— ответил Шваба.— Он приходил. нижайше просил прощения и ушел высиживать.

Королевна кивнула, и Барздукас врал дальше:

— У этого животного, вашлость, хорошая шерсть, крепкие рога, которые в бою, несомненно, посеют панику среди врагов, и нечеловеческий голос — воистину, трубу иерихонскую!

— Какой-какой голос?

— Нечеловеческий... Иерихонская труба.

— Ну так пожалуйста, хоть примерно покажи, протруби нам,— ласково попросила Фелиция.

Барздукас испуганно повертел головой и заблеял:

— Ме-е-е...

Королевна поморщилась, словно от кислого яблока, и указала пальцем на Швабу.

— Му-у,— по-телячьи замычал министр. Но королевна сердито махнула рукой и кивнула министрейшему.

— Бу-у-у,— заревел быком Пац-Почупайла.

— Вам не кажется, что я вас дурачу, господа? — чуть помолчав, спросила Фелиция.— Вы меня, а я вас. А?

— Ну как же, видим, светлость, чувствуем,— ответил министрейший,— делаем выводы, думаем, только вот додуматься не можем.

— Ладно, давай дальше,— королевна опять посмотрела на Барздукаса.

— Это существо, светлейшая, будет, кроме всего прочего, отличаться сложнейшим пищеварением,— пустил Барздукас новую струю.

— Будет отличаться или уже отличается? — цеплялась к словам королевна.

— Уже, светлейшая, уже! Эта тварь, этот королевский

рысак, корова и шелкопряд в одном лице, охотно ест лен, коноплю, крапиву и соленые тряпки. А прогоняя все это через свои изгибы и, так сказать, извивы, воспроизводит, светлейшая, готовые изделия: вожжи и различные полезные в хозяйстве веревки. Вот, соблаговолите взглянуть на образец, светлейшая.

— Посмотрите, господа, что он мне сует?

Министрейший надел белую перчатку, взял обрывок веревки, рассмотрел его сквозь очки и, передавая Швабе, сказал:

— Похоже, весьма похоже...

— На что? — спросила королевна.

— На веревку, если не ошибаюсь,— ответил министр, понюхав «изделие».— Только, увы, конюшней отдает... пока.

Недоминистр аккуратно завернул веревку в шелковый платок и скромно закончил:

— У меня все, вашлость. В будущем, несомненно, будем удлинять, утолщать и постараемся без запаха...

— Удлиняйте, утолщайте,— согласилась Фелиция.— Бог даст, хоть петля получится — какого-нибудь мошенника вздернуть. Только уж извольте королевское имя не марать.

Недоминистр, держась за поясницу, кое-как поклонился и уступил место Швабе.

— По моим сведениям, вашлость, двое крупнейших ученых проследили за скоростью распространения приятных и неприятных слухов. В военных целях, если не ошибаюсь. В назначенный день профессор, живущий на востоке вашего королевства, пустил сплетню, что светлейшая Фелиция, желая узнать, что о ней говорят в

народе, переоделась нищенкой и пошла по миру. И представьте, светлость, уже на другой вечер профессора на западе королевства навестила дюжина нищенок! Услышав сплетню, бедные старухи решили схитрить: вдруг горожане их примут, как следует принимать королевну.

— Ладно, сплетни оставим,— прервала Фелиция болтовню министров.— Лучше позовите моих парней.

Вельможи, словно на похоронах, склонили головы, наморщили лбы и вздохнули как можно громче.

— Ну?! Слышали, что вам говорят?!

— Слышали, вашлость,— заговорил, наконец, министрейший, сквозь черные очки рассматривая пол.

— На меня, на меня смотри! — потребовала королевна.— Сними очки!

Что тут поделаешь, снял и сдавленным голосом начал объяснять.

— Увы, эти юноши оказались недостойными вашей милости.

— Почему?

— Мне больно вам это говорить, но прошлой ночью они, не попрощавшись, не поблагодарив, сбежали, ваша светлость. А дорогу им показала, судя по всему, Ксаверия.

— Странно. Что же им тут не понравилось?

— Свиньи, ваша светлость! — воскликнул Шваба.

— Какие свиньи?

— Они свиньи, вашлость! — помог недоминистр.

— Все равно не понимаю,— хитрила королевна.

И министры, как певчие, один на высоких, другой на низких, третий на средних тонах — слаженно затрубили:

— Представьте, светлость, ни один не посмел...

— Не столько не посмел, сколько не захотел...

— Не столько не захотел, сколько, по чести говоря, нагло отказался...

— От чего?! — начинала сердиться Фелиция.

— Покорно просить вашей руки,— простонал, наконец, Почупайла. Он взволнованно опустился на одно колено, и тут выяснилось, почему министры так вырядились сегодня.— Светлость светлейшая, х-х,— сопел Почупайла.— Позвольте мне как старшему и министрейшему, х-х... вместо этих желторотых мальчишек предложить вам свою старую, закаленную, х-х...

— ... сердце! — выпалил Шваба и грохнулся на оба колена.— Хоть и недостоин, но, если не ошибаюсь...

Чуть поодаль преклонил колени и Барздукас.

— Смею и я,— простонал он, снимая картуз.— Пока достаточно молод и готов всеми силами...— Тянул Барздукас, но его уже заглушал своим сипом Пац-Почупайла:

— Двойного аристократического рода, х-х... Еще Аштаутасом, вечная ему память, благословлен, х-х...

— ... служить и усердствовать, усердствовать и служить,— снова умудрился вставить Шваба.

Барздукас терпеливо ждал, пока Фелиция обратит взор на его блестящее, омоложенное барсучьим жиром лицо.

— Но главное — я люблю вас, вашлость! — воскликнул он, распростерши объятия.— Давно и неудержимо жажду...

— Моей руки или короны? — поинтересовалась Фелиция.

Но в этот миг вошла Каруселла. Она удивленно взглянула на ползающих по полу вельмож и что-то шепнула королевне. Та улыбнулась, кивнула, и кухарка снова исчезла.

— Ну? Так кто чего жаждет?— повторила свой вопрос Фелиция.

— Это я первый сказал. Руки, ручки, вашлость,— умильно смотрел на нее министрейший.

— Прошу руки, но думаю о сердце! — признался Шваба.

— Значит, сначала руку, потом сердце... а потом что? — королевна посмотрела на Барздукаса.

— А потом хоть потоп, вашлость,— воскликнул недоминистр и уже собирался ползти на коленях к трону, но тут распахнулась дверь, и в тронный зал вошла Каруселла, а за ней — все четверо беглецов.

Разрумяненные сватовством министры побелели, словно мельники и — коленками, коленками — застучали к ближайшим дверям.

— Эй, стража! Никого не выпускать! — закричала Фелиция. Стражники у дверей должны были вытянуться в струнку, дважды стукнуть алебардами пол. Этого требовал древний обычай.

Но пока старший убедился, не спит ли кто из подчиненных, пока взмахнул перчаткой — мол, стучите,— Барздукас, Шваба и даже дряхлый Почупайла уже проскользнули мимо стражи и загрохотали вниз по мраморной лестнице.

Глава XIV

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФЕЛИЦИЯ!

Швипсу почудилось, что львы-собаки аж хвосты поджали: так сильно разъяренная королевна стиснула им головы. Но надо признать, Фелиция умела себя сдерживать — тут же она весело заговорила с беглецами:

— Значит, вернулись? И министров не побоялись?

— Если светлость за нас, чего же бояться? — ответил Пранцишкус, снова довольный и бодрый.

Но Швипс — плюх! — и тут же добавил ложечку дегтя:

— Королевна, вы обещали мне сказать, жив ли Атутис?

— Какой Атутис? — Фелиция вопросительно уставилась на него.— Я твою сказку поняла как сказку.

Тут королевна заметила, как Ксаверия дернула парня за рукав. Она хорошо знала владычицу и спешила остеречь друга, что теперь не время расспрашивать об отце.

Ревность, как та мерзкая крыса, заскребла по сердцу Фелиции. «Разлучить их? Каруселла да и совесть упрекнут меня, что растоптала расцветшую любовь, которой не испытала сама. Нет, оставлю их возле себя, посмотрю, надолго ли этой любви хватит?».

— Нет, светлейшая,— не унимался Швипс,— не все было сказкой.

— Откуда мне знать, где сказка, где ложь? И шапка Исидора, и юбка Георгия, и осина с маслины...

Их разговор был прерван появлением пьяного Шутлача, который напевал:

Кот с собакой мирно жили
Неразлучной парою.
Мы принцессу полюбили —
Перечницу старую...

Заметив беглецов (которые уж, наверно, поведали королевне, как он собирался их вешать, топить, да и топором...), Бешула начал отчаянно икать то ли от страха, то ли от выпитого и делал это так громко, так страшно, что даже Каруселла не стерпела и прикрикнула на него:

— Что, собаку проглотил? Откуда ты такой хорошенький?

— Я хотел светлейшей сказать... Вчера они меня надули, а сегодня, значит, «выпей и не дергайся...»

— Это кто же так?

— Министры. Вдоль и поперек источили... как три борова... бурова... буравчика, то есть.

— А яйцо где? — перебила Фелиция.— Разбил, выпил?

— Я... Яйцо? — еще больше испугался Бешула. Пощупал под мышкой — нет, по карманам шарит — пусто.

— Может, вылупилось уже, а ты и не заметил? — издевалась Каруселла.

— Может... может и вылупилось... или вывалилось,— залепетал Бешула и вдруг обнаружил яйцо в рубахе у пояса.

— Вот,— он протянул яйцо на дрожавшей ладони, но тут же засуетился, начал торопливо застегивать рубаху

на обнаженной груди, попытался пригладить вставшие дыбом волосы, а яйцо — тюк! — и разбилось.

Бешула испуганно зажмурился, постоял, шатаясь, подумал, потом вдруг встрепенулся, чтоб не заснуть, и совершенно трезвым голосом заявил:

— Ну и слава богу! Теперь хоть все ясно стало. Прощайте, ваша светлость! Прощай, Каруселла! И вы, мужики, не поминайте лихом. Было время — я тоже человеком был.

— Ну и куда ж ты теперь? Куда? — спросила Каруселла.

— Пойду повешусь! Не как палач — как шут удавлюсь!

— Повелительница,— шепнул Йонас,— скажите ему, что яйцо-то индюшачье.

— Все! Свободен Бешула! — выкрикивал палач, взмахивая руками.— Желаю и вам того же!

— Постой,— прервала его Фелиция.— А что скажешь, коль узнаешь, что это яйцо индюшачье?

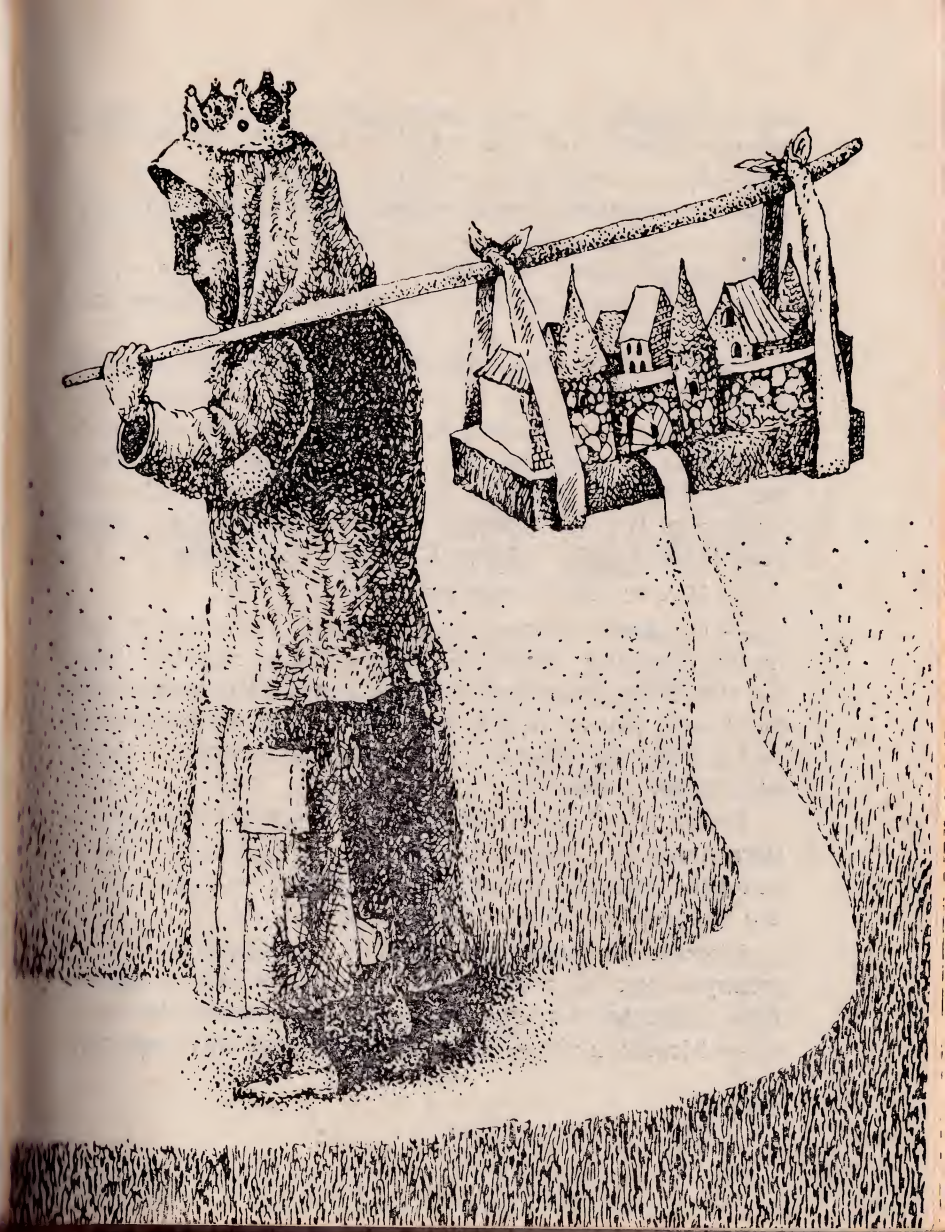
— А мне плевать! — отрезал Бешула.— Индюк, жар-птица, король, лакей — тьфу! — один конец! — Он снял свой камзол, бросил его на пол и вытер об него ноги.

— Красиво поешь. Даже отговаривать тебя не хочется,— сказала королевна.— А все-таки сначала проспись. А то ведь и петли не завяжешь.

— Не вам меня учить! — буркнул Бешула, направляясь к двери, но, как истинный шут, поскользнулся на разбитом яйце, ударился головой о пол и затих.

— И этот соврал. Обещал удавиться, а сам...

Конечно, раздосадованная выходкой Шутлача королев-



на могла сорвать злобу на парнях. Понимая это, Каруселла поспешила на подмогу:

— Вранье вранью рознь. Один человек во лжи, как в болоте, утопит, другой, словно лекарь, ложью сердце успокоит. Сама слышала, горожане болтают, что уже не королевна правит, а какой-то министр — добрая душа. Всем смеяться разрешил, каждому горшку крышечку присудил.

— А куда ж эту... Фелицию девали? — хмуро спросила королевна.

— Королевна, говорят, монашенкой оделась, идет себе с посохом, смотрит, что хорошо, что плохо. Оттого и люди радуются. А мироеды, обманщики да купцы трясутся от страха. И еще поговаривают, дескать, Фелиция собралась жениха себе выбрать. Сама. Без советчиков.

— И люди верят этим сплетням?

— Ой, многие верят! Старые кавалеры бороды бреют, штаны утюгами палят, на сапоги блеск наводят. Чуть увидят бабу, повязанную темным платком, улыбаются, коты да и только. Я и то по базару спокойно не пройду. А уж эти коробейники! Вежливые, сладенькие... Коты, одно слово, коты.

Ни Каруселла, ни Ксаверия, ни парни — никто не заметил хитрой искорки в высочайших глазах. Доселе королевна дурачила придворных, а теперь, чего доброго, и всё королевство за нос поводит.

Может, это знамение? Может, воля господня, а? — шепнула она Каруселле.— Может, королевне и впрямь пора найти да на трон возвести честного человека?

— Может, и так,— сообразив, куда гнет Фелиция, поддакивала кухарка.— А что же за министр королевством правит? Корону кто стережет?

— А если не министр? Если Каруселла, кухарка, а? — заговорщицки подмигнула Фелиция.— Что ты на это скажешь?

— А я спрошу, кто Каруселлу охранять будет, министры-то взбесятся — прихлопнут старушку.

— Охранять? Да вот же они,— молодцы, за которых ты так хлопотала. А министры пусть думают, что я и трон оставила, и с ума сошла.

— Не пустим, братцы! Умолять будем! — скомандовал Пранцишкус.— Не оставляй нас сиротами, матушка!

— Ты, господин Тишкевич, Каруселлу береги пуще глаза,— распорядилась Фелиция.— Все трое вооружайтесь и от Каруселлы ни на шаг, пока я не вернусь.

Сначала Швипс и Свечка думали, что Фелиция шутит. Где это видано, чтобы королевна, как нищенка, ходила по стране, спала в сараях, питалась подаянием?! Но вскоре Каруселла раздобыла коричневую рясу, четки, холщовую суму, яблоневый посох, и королевна три дня бродила по дворцу в этом платье, прощаясь с рыдающими слугами и королевским житьем-бытьем.

Нашкодивших министров никто не искал и не собирался наказывать, а они, не желая попадаться владычице на глаза, во дворце не показывались.

На четвертый день согнали дюжину монашек, одетых точно так же — под капюшонами, с четками, торбами и посохами, и когда епископ отслужил в дворцовой часовне прощальную мессу, собравшиеся уже не могли раз-

личить среди этих коленопреклоненных женщин королевну Фелицию.

После мессы обитатели дворцовых покоев, башен, погребов и чердаков провожали странниц у Больших ворот. Женщины плакали, бросались к монашкам, хватая их за руки, целуя их одежду, и все надеялись, что им удалось коснуться самой королевны.

В этом трогательном празднике, сулившем народу большие перемены, не участвовали ни министрейший, ни министр, ни недоминистр. И даже Шутлача не было. Поговаривали, что Каруселла получила от владычицы наказ найти на их должность новых людей — добрых и справедливых.

Между тем в опустевшем, словно вымерший улей, дворце, происходили странные события. Каруселла приказала запереть все двери, но ошибалась, думая, что во дворце никого нет. В пустом улье очень скоро заводятся мыши...

Первым проснулся упавший за портьеру Шутлач, так и не сдержавший своего слова. Залечивая разбитый затылок и гнилую душу, он вылакал всю аптеку Каруселлы. Выпил настои целебных трав, кореньев, змей, опорожнил зеленые бутылки, наполненные всякой дрянью.

Да, он проснулся, но после такого лечения никак не мог отделаться от кошмаров. Ему казалось, что вытканные на портьерах охотники топчут его конями, разъяренные гончие хватают за рукава и штанины. Вокруг улюлюкают, свистят и трубят загонщики.

Шутлач шел, держась за стенку, и отбивался ногами от рычащих псов, пока не очутился у гобелена, на котором знатные вельможи уплетали дичь, пили вино и, горланя черт-те что, показывали пальцами на Бешулу, который из-за этого проклятого яйца превратился в курицу.

Когда он расхрабрился и попытался стянуть с их стола чарку вина, из-под скатерти выскочила рычащая собака и бросилась на него. Бешула отпрыгнул, языком выломал качавшийся зуб, плюнул им в собаку и пошел жаловаться Каруселле. На красном бархате трона Шутлач увидал зеленого чертенка, величиной с кота. Бес вертел в руках корону Фелиции и считал сверкавшие в ней бриллианты.

«Сейчас я его за шкирку — и будет Каруселле гостинчик. Загоним его в бутылку, заспиртуем». Но чертенок, словно прочитав мысли Бешулы, маленьким зеленым вихрем поднялся с трона и со свистом влетел палачу в ухо. Тот плюхнулся на трон и принялся выковыривать нечистого пальцем. Он даже ногтем доставал до мохнатого кончика хвоста и не переставал угрожать:

— Пшел вон! Сейчас кликну Каруселлу, чтоб святой водицей тебя окропила.

Но чертенок в ухе так захохотал, что, казалось, вот-вот башка разломится пополам. Поэтому Бешула хорошенько натянул на себя корону, и его голова стала постепенно превращаться в дубовый бочонок вроде того, в каких заморские купцы привозят хорошее дорогое вино. Пошарив рукой, он даже затычку нащупал. Он ее тянул, тянул, но бочонок так и не откупорился.

В этот момент в одной из ниш тронного зала лязгнули парадные рыцарские латы, и из них, как рак из старого панциря, вылез недоминистр Барздукас. Из-за пазухи он достал черный пузырек, выдернул зубами пробку и, нака-

пав на картуз Швипса резко пахнувшей жидкости, на цыпочках от колонны к колонне подкрался к трону и сказал Бешуле:

— О, что я вижу! Шут, палач и последний пропойца в короне!

— Да вот затычку заело,— пожаловался Шутлач, расшатывая свой сизый нос.

— А ты тряпочкой, тряпочкой,— посоветовал Барздукас и грациозным жестом — шлеп! — прижал к его лицу пропитанный ядом картуз. Он и так и сяк отворачивался, чтоб не нанюхаться самому, но все равно, когда понадобилось дотащить труп Шутлача до окна, Барздукас почувствовал себя будто угоревшим. Он намеревался выбросить покойника во двор (дескать, Бешула сам напился и бросился из окна), но тут за его спиной возник министр Шваба.

— Помочь? — спросил он, положив ему руку на плечо.

Барздукас вздрогнул и в тот же миг почувствовал в спине нож.

— Да здравствует Фелиция! — взревел недоминистр, надеясь, что после смерти хоть кто-нибудь назовет его героем, отдавшим жизнь за свою королевну.

Шваба вложил кинжал в мертвую руку Бешулы, а окровавленные перчатки, украденные у министрейшего, аккуратно положил на подоконник. Рванул с окна портьеру, хотел прикрыть мертвецов и, когда она упала, увидал перед собой Почупайлу.

Эх, не поспеши он избавиться от кинжала, министрейшему тут же пришел бы конец. Теперь же он голыми руками вцепился старику в кружевной манжет, не подозревая, что пистолет в другом рукаве Почупайлы.

Бабахнул выстрел, и министр Шваба тоже ничего лучше не придумал, как взвизгнуть:

— Да здравствует... ция!

Пороховой дым, запаха которого Почупайле давно не приходилось нюхать, вызвал у него сильную одышку. Министрейший, хрипя, синея, еле-еле дотащился до трона и, задыхаясь, так низко опустил голову, что на ней даже корона не удержалась. В воздухе еще пахло ядом, от которого умер Бешула.

Открылась дубовая дверь — в тронный зал вошли вооруженные алебардами стражи: Пранцишкус, Йонас и Гервазас.

— Гляньте-ка, кто-то уже сидит,— замедлил шаг Тишкевич.— Не министрейший ли?

Не зная, как поступить, парни осторожно приблизились и встали: Йонас — слева, Гервазас — справа... и стоят. Старший, Пранцишкус, учуяв запах пороха, обернулся и отпрянул: возле окна лежали три мертвеца.

— Как видите, господа... х-х... небольшой переворот,— чуть подняв голову, пояснил Пац-Почупайла.— Вам остается только примкнуть и поддержать... х-х... Фелиция сошла с ума и, конечно, уже не вернется, х-х... Так что королем теперь буду я!

— А с чего начнете? — спросил Пранас.— Опять велите нас повесить?

Король-самозванец безпомощно замотал головой:

— Перед дождем сердце что-то, х-х... Каруселлу позовите. Пусть при... валерьянки пусть... х-х...

Только он помянул Каруселлу, а она уж тут как тут вместе с Ксаверией. Вошла, а в руках клубок шерсти словно Земля, пронзенная спицами. Выкроив минутку для от-

дыха, она непременно садилась вязать, и сейчас начала нарядную шаль Ксаверии в приданое.

Увидев Каруселлу, министрейший открыл рот, попытался что-то сказать, но тут за окнами ударил гром, хлынул дождь и — пш-ш! — потушил жизнь Почупайлы.

— Видишь! А я что говорила? — укорила его кухарка.— Человек, человек, боже ты милостивый! Тебе бы зимой на печи лежать, летом под деревцем сидеть, так нет — туда же — холодные стены подпирать! Ты слышишь или уже преставился?

— Преставился,— подтвердил Пранцишкус.

— Расступитесь, молодцы, я прикрою его,— перекрестилась Каруселла, но парни молча кивнули на торчавшие из-под занавески три пары ног. Каруселла подошла, откинула портьеру с охотниками и псами, как-то странно взглянула на потолок и упала в обморок. К счастью, Йонас изловчился поднять с пола упавший клубок со спицами: иначе тетушка Каруселла непременно напоролась бы на них.

— Ой, братцы, пора нам бежать отсюда, побыстрей и подальше,— сказал Свечка.— В чужой крови замараешься, потом не отмоешь.

— Пранялис, принеси воды,— попросила Ксаверия,— надо тетушку в чувство привести.

— Сколько вам повторять?! Не зовите меня этим плевым именем. Я вам не лакей,— огрызнулся Пранас, который вовсе не собирался бежать из дворца. Да и чего ради? Главные враги — вот они лежат готовенькие, а Гервазас со Швипсом — сверчки, а не соперники. Один уж по цыганскому табору истосковался, другой сам признался: ему бы только о судьбе отца разузнать да уйти с Ксаверией куда глаза глядят.

Глава XV

ПРИДЕШЬ НАГИШОМ, УНЕСЕШЬ ЗА ПАЗУХОЙ

Похороны министров доставили Каруселле множество хлопот. Она совершенно сбилась с ног, была так раздражена, что даже цыкнула на своих телохранителей, и Швипс не нашел удобного случая расспросить ее об отце.

Лето было дождливым, дороги раскисли, и гостей во дворце поубавилось. Наконец-то Каруселла могла отдохнуть, она села, взялась за вязанье и попросила Ксаверию принести скамеечку под ноющие от усталости ноги. Услышав это, Пранас улегся на пол, свернулся калачиком, как кот у ног своей хозяйки, и замурлыкал:

— А вы на меня ножки-то... И повыше, и потеплее, и мне приятно.

— Спасибо, деточка, спасибо. Видать, матушку свою любил крепко, коли ласковый такой вырос.

— Да не очень,— признался Пранас,— частенько меня метлой колачивала. А я шасть под кровать и лежу вот так.

— За что ж тебя били? — Каруселла наклонилась и погладила его по волосам.

— Отец лупил мать, она со злости — меня.

— А что ж он так мать не любил?

— Почему не любил? Любил, но и отца нередко колотили,— зевнул Пранас.

— Кому ж он так досаждал?

— Приказчик был злющий, но и ему от барина доставалось.

— Ну, над барином господь бог есть! — вздохнула Каруселла, рассчитывая прервать эту канитель, но Пранцишкус, распахнув душу, вовсе не торопился ее закрывать.

— А барина по лицу била барыня,— сказал он.— Ну, а мне с малых лет хотелось таким человеком стать, которого никто пальцем не тронет.

— Тебе бы барыней родиться,— пошутил Гервазас.

— Э-э, барыню епископ проклял: зачем с иноверцами связалась. Вот если б стать епископом или князем! — Пранас пощекотал Каруселле подошвы.

Кухарка дернула ногой и незло стукнула Пранаса спицей по уху. Швипс решил, что теперь самое время, и спросил Каруселлу, не знает ли она чего об Атутисе, который должен был писать портрет короля Аштаутаса.

— Да что ты, деточка,— вздохнула Каруселла,— в то время меня к королю и близко не подпускали. Откуда мне знать...

— Ну, может, приближенные что-нибудь говорили?

— Приближенные? Говорили что обычно. Кто про насморк, кому аист ребеночка принес, у кого крыша протекла...

— А о смерти короля, об Атутисе — никто, ничего?

— Как же ничего? Плакали, когда король умер. Как не заплачешь, когда даже господа рыдают. А вот почему умер, отчего умер... Умер — и слава богу.

— Что ж никто и в окно не выглянул, когда отца на смерть волокли? Даже «упокой господи» никто не шепнул?!

— А чего ты разошелся? Ты чего орешь? — закричал Пранцишкус, приподнявшись на локте.— Если твой отец был такой же, как ты...

— Фу, Тишкус! Лежать! — скомандовал Гервазас.— На своих рычишь!

— Деточка! — продолжала Каруселла, пропустив эту стычку мимо ушей.— Дворец огромный, а человек маленький. С кем надо было покончить, с тем кончали, мимо окон не водили. Для этого есть кареты, мешки, есть целая преисподняя под замком. Ты лучше заупокойную по отцу закажи да радуйся, что сам жив остался.

— Вот и я говорю,— вставил Пранас.— За все твои штучки тебя самого надо бы загнать... где раки зимуют.

— Отойди, Пранялис, пусти! — уже недовольно заерзала Каруселла.— Видать, не те ноги обнимаешь, коли так заговорил.

Швипс хотел еще спросить, кто в ту пору был особенно близок к королю, но тут вошел лакей и объявил, что Каруселлу просит о приеме явившаяся издалека не то госпожа, не то барышня, по имени Мелания.

— Ну что ж... Проси,— сказала кухарка, откладывая спицы.

В залу впорхнула шумная, цветущая, непривычно веселая госпожа Мелания, в шляпе с перьями, в кружевных перчатках, осыпанная пуговками как почками, вся в рюшечках, воланчиках, оборках. Вычурно поклонившись Каруселле, она распростерла крылья и обняла Швипса.

— Мой любимый ученик, мой воспитанник! Надеюсь,

ты не сердишься на меня за то лукавство... Я вселила в него такую прекрасную иллюзию! — объяснила она кухарке.— Входишь в королевский дворец и становишься невидимым! О Пранялис! Свечка! Ах вы, мои богатыри! Светлейшая столько говорила мне о вас... Ах! — всплеснула она руками.— Ведь я еще не сказала вам, что по пути сюда встретила владычицу! Ну богомолка, вылитая богомолка, с посохом, с четками на шее. Не узнать. И не потому, что постарела или что-то еще... Нет. Меня поразила ее мудрость, ее глаза, светящиеся неземной радостью.

— А где ж вы ее встретили? — спросила Каруселла.— Как она себя чувствует? Что говорила? Я так боялась, как бы она не сбила ноги в этих башмаках.

— Насчет башмаков не знаю, не могу сказать,— щебетала Мелания,— она шла босая. Я приказала кучеру остановиться, думала: подвезем бедняжку. Смотрю — да ведь это королевна Фелиция! И она меня узнала. Еще пальцем погрозила, чтобы я не выдала ее, потом уселись под деревом, запросто добрый час болтали. Боже, сколько она успела повидать! Сколько поняла! И как она благодарила меня за этих шутов!

Она снова бросилась целовать парней, не переставая оглядываться:

— Господи! Как все тут мне знакомо! Как все мило!.. А это... Неужели моя Ксаверия? Надо же! Не узнала...

Не дожидаясь, когда Мелания бросится ее целовать, Ксаверия схватила Швипса за руку, вывела за дверь и шепнула:

— Вот кто знает о твоем отце. Тогда она жила здесь. Старый Аштаутас без нее был как без рук. Лови случай.

— А может, лучше ты? Ты понимаешь, когда она врет, когда нет.

— Ладно, попробую,— пообещала Ксаверия.— Но мне кажется, она пока не сказала ни слова правды.

— А как ты думаешь, она в самом деле встретила королевну?

— Конечно, нет,— уверенно ответила Ксаверия.

Когда они вернулись в зал, Мелания уже рассказывала Каруселле, что Фелиция просила ее передать всем наилучшие пожелания и показать кольцо с гербом Аштаутаса для того, чтобы Каруселла без всяких колебаний уплатила ей за шутов десять тысяч золотых. С этими деньгами подружка Аштаутаса намеревалась отправиться в Рим к самому папе, поведать ему о босой королевне, бредущей по своей стране, утешающей бедных, предостерегающей богачей, дарящей страждущим неиссякаемую милость своего сердца.

Как ни дрожал от волнения подбородок Мелании, как ни сморкалась она, как ни смахивала слезы, но Каруселлу ничуть не растрогала. Она спокойно слушала, продолжая вязать, а когда гостья закончила, предложила ей отдохнуть с дороги, да и лошади отдохнут. А сама обещала показать знатокам это кольцо и разузнать у них, чего оно стоит.

Однако не прошло и часа, на меланьиных конях не успел просохнуть пот, Еронимас даже не вздремнул, как двое конюхов по приказу Каруселлы подали к парадному крыльцу скрипучую телегу, в которой возили навоз. Двугодок, вряд ли ходивший до сегодняшнего дня в упряжке, вздрагивал от кашля и испуганно поводил ушами, а увидев распушившего хвост павлина, поднимался на дыбы и

изо всех сил старался избавиться от этой отвратительной словно в насмешку прицепленной к нему телеги.

Никто не слышал, как и какими словами Каруселла приказала Меланье сесть в эту телегу и убираться из замка по добру по здорову.

Ксаверия, конечно, не посмела расспрашивать Меланию об Атутисе. Сначала та была слишком весела и игрива для таких разговоров, а теперь побледнела, испугалась, озлобилась.

Еронимас глянул на рысака, запряженного гнилыми веревками, стал креститься и наотрез отказался ехать на такой лошади. Гервазас — недаром же цыган — посоветовал ему набросить на голову жеребца мешок, чтоб меньше видел, меньше слышал и меньше пугался. И вообще, такой породистый рысак, утешал Свечка, стоит четверки гнедых, которых Мелания по приказу кухарки оставила в королевской конюшне.

Пока возница искал мешок, Ксаверия деликатно поинтересовалась у Мелании, за что ее так непочтительно выставляют.

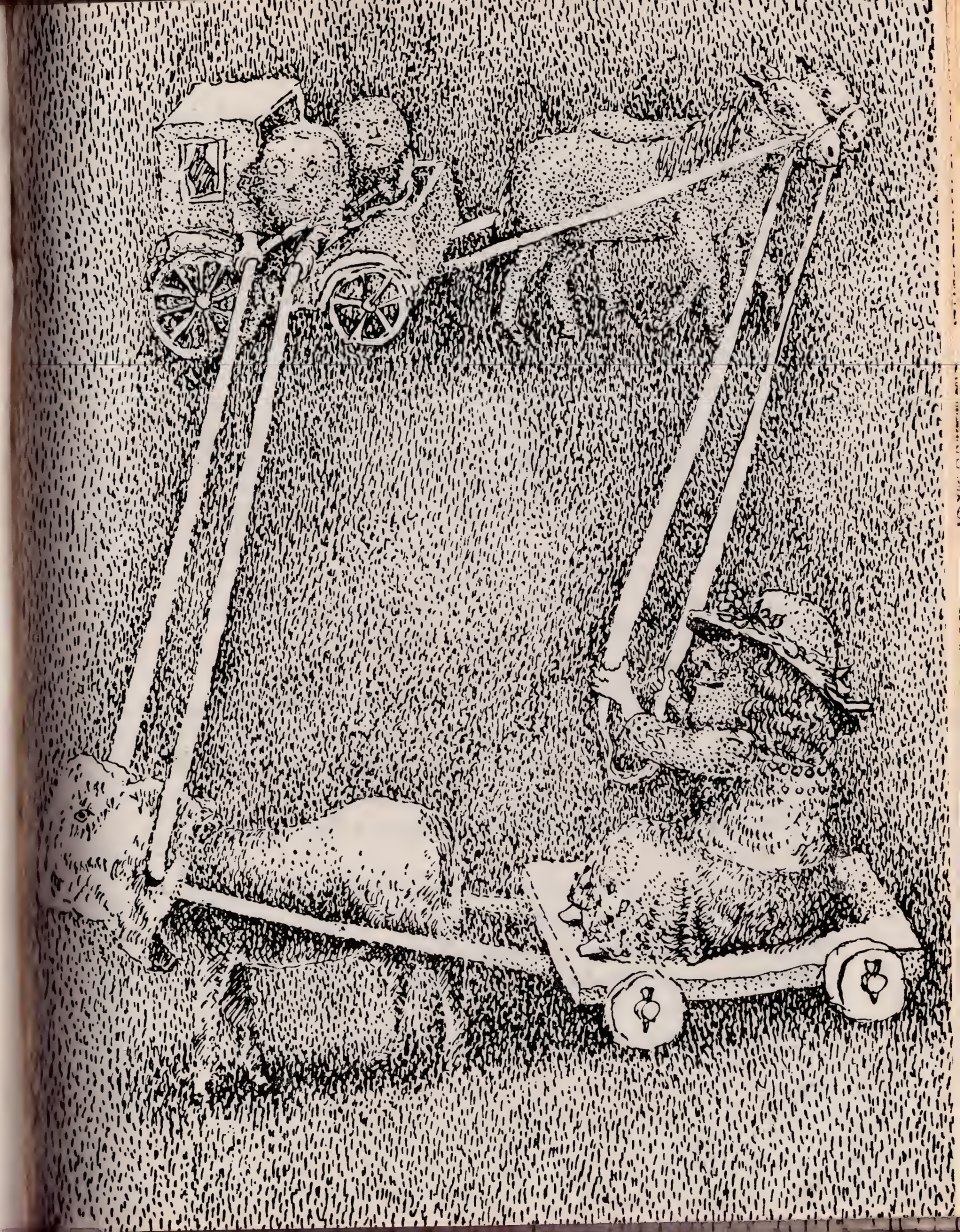
— Когда-нибудь и вас погонят,— всхлипывала та.— Вот тогда всё поймете...

— Мы сами уйдем, здесь не останемся,— сказала Ксаверия.— Вот только Швипс узнает, что сталось с его батюшкой. А вы о нем ничего не слышали? Не знаете, куда он девался со своим портретом после смерти Аштаутаса?

Мелания только рукой махнула, но забравшись в телегу, спросила:

— Знаешь в замке резную дверь со святым Георгием?

— Знаю, видела.



— Найдите ключ, отоприте ее, да только тишком, чтоб не видел никто, и все поймете.

Понукаемый слугами Еронимас, так и не решившись сесть в телегу, нащупал под мешком уздечку и под скрип и хлюпанье телеги повез госпожу к воротам.

— Змея подколодная! — завопила Мелания, обернувшись и заметив в окне Каруселлу.— Чтоб тебе подыхать до скончания века! Чтоб весь ваш дворец чирьями пошел!

— Не кричите, госпожа,— попросил Еронимас,— жеребец шарахается, не удержу.

В молчании выкатились они на большак и вскоре заметили летящую навстречу в фонтанах грязи карету.

Не Пуйпа ли с Пополамием спешат во дворец за королевскими милостями?

Так и есть — они самые...

— Госпожа Мелания! — воскликнули они, осадив коней.— Почему вы в этой мужицкой колымаге? Что случилось?

— Ничего,— спокойно ответила она.— Но если уж наша владычица может ходить пешком и босой, то, по-моему, господа, просто неприлично являться во дворец в такой вызывающей карете.

— Верно,— забеспокоился Пополамий.— А мы как-то не подумали.

— Плохо, очень плохо,— гнула свое Мелания.— Учтите, милейшие, чем беднее приедете, тем полнее уедете. Вот я получила три поместья, две корчмы, пять ветряных мельниц... да леса, да озера, да крепостных, да пасеки... Плохо ли?

— Госпожа Мелания,— почтительно снимая шляпу,

простонал Пуйпа.— Не одолжите ли вы нам свою повозку?

— И посоветуйте, с чего начинать,— уцепившись за телегу, умолял Пополамий.— Как, по-вашему, поверит эта кухарка, что мы встретили Фелицию?

— Мы в самом деле имели такую честь,— бесстыдно врал Пуйпа.— Я даже ниточку из ее одежды выдернул на память.

— Ну хорошо-хорошо,— согласилась колдунья.— Поменяемся. Только извольте спустить меня на землю.

Усевшись в карету шутоловов, она посоветовала им не только рассказать этой бабе о встрече с Фелицией, но и передать, что одного из них королевна назначила на пост министрейшего, а второго — сделала министром или на худой конец — недоминистром.

— А что скажет владычица, когда вернется? — испуганно заквакал Пуйпа.

— А вы, сударь, полагаете, что она вернется? — укоризненно закивала головой колдунья.— Бедные людишки давно зубами скрипят. Да попадись она крепостным в руки, они ей за все заплатят той же монетой...

— Скажу, что министрейшим назначен я,— решился Пополамий, первым карабкаясь в навозную телегу.

— Постой-постой,— забулькал Пуйпа.— Тут мы еще посмотрим!

Между тем Еронимас столкнул с козел удивленного бородатого кучера и стал разворачивать коней.

До замка оставалось не более двух верст, но Пополамий и Пуйпа успели не только поспорить, но и подраться. Теперь уж не узнать, кто кому дал по уху, кто кого назвал дураком, кто выхватил пистолет и бабахнул.

Убил — не убил, одному богу известно, ибо конь, оглушенный выстрелом, понес. Сначала упал кучер. А жеребец всё несся, канава не канава, камень не камень, пока от телеги с господами не остались лишь две измочаленные оглобли.

Мужичок, нашедший взмыленного коня, сколотил из этих оглобель крест и воткнул его посреди поля за упокой души незнамо где и как погибших ездоков...

Когда Швипс спросил у Каруселлы, что там, за резной дубовой дверью, она ответила, но как-то неохотно:

— Апартаменты покойного Аштаутаса. Как он умер, нам приказали и носа туда не совать. Лакеи говорят, король и сейчас там по ночам бродит. Я сама слыхала: что-то трык-трык! — не то ящик открывали, не то кресло двигали.

— Что ж он там ищет?

— А бог его знает. Может, пергамент какой — список... сколько душ загубил, сколько мужиков до смерти засек.

— А может, как-нибудь откроем, посмотрим? Пусть ксендз святой водицей покропит.

— Что ты, деточка, что ты! Мы же клялись. Даже ухо к двери приложить не дозволено. Да что вам во дворце места мало?! — вдруг рассердилась она.— Свои покои есть — вот и живите, пока не гонят.

На этом разговор кончился. Но любопытство все больше жгло Йонаса. Ему не терпелось узнать, что там, за этой заветной дверью, ведь он никому не присягал...

Он обо всем рассказал Гервазасу и Ксаверии. Пранцишкусу не доверился — тот всё мурлыкал, словно кот,

принюхивался, как собака — в любой момент мог побежать и донести Каруселле.

Молва об ушедшей в народ Фелиции и о кухарке, мудро правящей королевством, ежедневно привлекала во дворец толпы просителей, требователей, фискалов и искателей правды.

Вскоре, запрягши своего Пестрого, подкармливая его пыльной придорожной травой, во дворец явились и братья Атутисы. Йонас-то, младший, коль не врут, успел и милость Фелиции снискать, и чуть ли не правой рукой у Каруселлы сделался. Может, подарит братьям по сотне да насчет вольной похлопочет. Перст Короля всё чаще требует, чтоб забыла своего жениха да за него вышла, за такую скотину.

И вдруг — на тебе! — оказывается: этот Швипсик, хоть и на добрых харчах, хоть и наряжен франтом, а в кармане-то лишь платок — нос утереть. С Каруселлой видится, но просьбу братьев передать ей не смеет...

— Ну, ты толком скажи, рассмешил ты королевну или нет? — требовал рассерженный Бразеюс.

— Во-первых, не я один смешил,— выкручивался Швипс.— Нас четверо было, четверо и осталось.

— Так требуй свою долю,— нетерпеливо учил Бенедиктас.— Не будь лопухом! Не жди, когда насильно наградят!

— Темнит он чего-то,— бормотал Дзидорюс.— Как зажил по-барски, так и нос в небо.

Швипс помнил, как братья, молча, не спросив согласия, отдали его, словно котенка, Мелании. Поэтому и он, не говоря братьям всей правды, предложил, как стемнеет, высадить одну заманчивую дверь. Дескать, Каруселла

ключи посеяла и не может теперь добраться ни до печати королевской, ни до денег. Коли дверь открыть, Швипс завтра же получит три сотни. А Каруселла, даст бог, в благодарность еще по тысяче на брата отвалит.

— Вот это разговор! — оживились братья.— Только зачем ночи ждать? Айда сейчас плечами подналяжем — ать-два!

— Сейчас просителей — пруд пруди. Налетят, клянчить будут. И получится, как в той сказке, этому дали, этому дали, а меньшому и не досталось.

— А ты себя меньшим не считай. Люди говорят: ты у Каруселлы первый помощник,— подзуживали братья.— А ты вон затюканный какой-то.

— Обидно, что вы батюшку забыли.

— Мы не забыли! — спохватился Бразеюс.— Но что поделаешь? Что толку прошлое ворошить?

— Мы вот доро́гой смекнули,— вторил ему Бенедиктас,— по сотне нам и так дадут, а за батюшку должны особо накинуть.

— Ладно,— не будем торговаться,— мирно закончил Дзидорюс.— Каждому по сотне и чтоб никакой барщины. А? Возвращаемся и подносим приказчику шиш: вот тебе, а не Кастуте.

Глава XVI

ЗА РЕЗНОЙ ДУБОВОЙ ДВЕРЬЮ

В тот вечер заговорщики рано задули свечи, легли и стали ждать, когда заснет Пранас. Но вышло иначе: за стеной захрапел Амбразеюс. А ведь Швипс предупреждал — ночью не спать, ждать, когда он поведет их к заветной двери!

— Йонас! — крикнул Пранцишкус.— Пойди, скажи этому храпуну, чтоб на бок лег. В жизни не слыхивал такого мужицкого храпа.

— Ладно,— согласился Швипс,— схожу. А ты, Пранас, спи. Побереги себя на благо королевства.

Он встал и, пробираясь к двери, тронул Герваза. Вскоре четверо братьев Атутисов и пятый, Свечка, уже крались темными коридорами.

Припав к двери, послушали... Братьям Швипса показалось странным: как же так? — ключ потерян, собираемся дверь высадить, а за ней и хохот, и визг, и бормотанье слышны. Голоса доносились снизу, из-под земли, будто из провалившейся в пекло корчмы.

— Да это, небось, прислуга гуляет, а нам уж бог весть

что кажется,— сказал Швипс, хотя у самого мурашки бегали по спине от страха.

Гервазас знал, что лакеи во дворце не посмели бы так шуметь; он понял: просто Йонас братьев успокаивает, и тут же решил не оставлять друга что бы там ни было.

Не успели они нащупать дверную ручку, как в конце коридора замелькал огонек. Шлеп, шлеп, шлеп — приближались чьи-то шаги, и из темноты возникло лицо, очерченное седой бородой.

«Аштаутас! Призрак Конопляного!» — смекнули оба шута и плотно прижались к стене. Перепуганные братья Швипса, словно тараканы, бросились по углам. Сердца громыхали, как барабаны у виселицы. А лицо, освещенное свечкой, всё ближе, ближе...

Теперь было видно, что в свободной руке призрак несет поднос, уставленный бутылками и закуской. Швипс и Гервазас признали старого лакея Иполитаса и, облегченно вздохнув, вытерли о панталоны вспотевшие ладони.

Подойдя к двери, Иполитас поставил свечку на поднос. Вытащил из-за пояса ключ и поскреб им по двери, нащупывая замочную скважину.

И надо же такому случиться — у кого-то из братьев, может, от королевских пирогов, может, от страха, вдруг забулькало, задвигалось в животе — так взревело, что Иполитас вздрогнул всем телом, обернулся, увидев блестящие в темноте глаза и распахнутую пасть, сдавленно ойкнул и, бросив поднос, дунул обратно, словно упырь, напуганный первым петухом.

Братья Атутисы перевели дух и зашипели из темноты:

— Бежим! Черт с ней... с печатью...

Но Швипс, заметив оставленный Иполитасом ключ,

предложил им вернуться досыпать, а сам уже открывал дверь. Плутать в потемках братьям не хотелось и, наступая друг другу на пятки, они ввалились вслед за Йонасом в покои Аштаутаса.

Большая комната давно не проветривалась, пахло плесенью. При свете единственной оплывшей свечки, можно было разглядеть еще одну черную резную дверь. За ней слышались мужские и женские голоса, но слов разобрать нельзя было.

— Не спеши,— удержал Гервазас Швипса.— Ну, войдем мы... А что скажем? Что мы ищем?

— Правду! — твердо сказал Йонас и, не постучав, распахнул дверь, на которой был вырезан святой, раздающий голодным хлеб. Словно пьяницы, вломившиеся в корчму, стояли парни на пороге и разглядывали нарядную комнату с портретами вельмож на стенах. В углу, за освещенным столом, хлопали картами двое мужчин и две женщины: Каруселла, начальник дворцовой стражи, Чахлый и... светлейшая королевна Фелиция!

Конечно, игроки ждали Иполитаса и поначалу даже внимания не обратили на вошедших. Но начальник стражи вдруг взглянул поверх карт и даже рот открыл: пять мужиков в тайных покоях королевны! Ночью! Откуда?! Зачем?!

— Господа! — пролепетал он, уверенный, что перед ним заговорщики, которые сейчас будут резать и крушить.— Господа! Я с вами... всей душой! Я только исполнял приказы. Я — человек современный, я разделяю и одобряю: гнилую ветвь надо рубить.

— Цитирую святого Петра! — торжественно взвизгнул

Чахлый, ныряя под стол: — Цитирую святого Петра: «Бойтесь бога и чтите короля!»

Чахлый, которого во дворце звали Ремигиюсом, был подарен скорбящей Фелиции доминиканцами. Выросший в монастырской келье, в окружении книг, вдали от солнца и жизни, этот молодец знал древнегреческий, древнееврейский, латинский языки, и теперь за картами и даже под столом уверенно сыпал цитатами из библии и трудов святых теологов.

Доминиканцы надеялись, что эта поблекшая книжная душа со временем сделает королевну святой или хотя бы развеселит ее своей редкой наивностью. Но Фелиция думала иначе: она сделала его своим тайным источником мудрости. Порой она заходила к нему послушать умные слова о боге, короле, государстве и подданных. Но о том, что творится за стенами дворца, бедный Ремигиюс понятия не имел.

Покончив со святым Петром, он взялся за светого Бернарда:

— «Не пора ли вам, синьоры, подумать о своем смертном часе?»

Валета, брошенного начальником стражи, Фелиция спокойно покрыла тузом и сказала:

— Ну вот, твоя карта бита, любезный.

Только после этого она обернулась к непрошенным гостям:

— Ну? Что скажете?

— Ваша светлость? Так это вы? — глупо спросил Швипс.

— Светлейшая ногу башмаком стерла, вот и воротилась,— еще глупее ответила Каруселла.

Но тут уж и Пранас Профанас сообразил бы, что королевна всех за нос водила: не уходила она никуда.

— Цитирую Конфуция,— объявил Чахлый, подбирая с пола карты.— «Властители должны направлять народ по своей воле...»

— Я вас спрашиваю, что вам здесь надо? — в голосе королевны уже звучал гнев.— Это что за рожи?

— Это мои братья,— ответил Швипс.— Мелания говорила, что за этой дверью мы сможем разузнать о нашем отце, Атутисе.

— Да не слушайте вы его, светлейшая! — от страха Амбразеюс заревел басом.— Приехали брата навестить, накормили нас, напоили...

— ... ну и приспичило, как говорится, до ветра,— прибавил Бенедиктас, а Дзидорюс закончил:

— Младший-то нас повел, повел да и попал пальцем в небо.

— Приказывайте, ваша светлость! Куда их теперь? — щелкнул каблуками начальник стражи.

Но королевна сделала вид, что не слышит его, и велела братьям приблизиться. Только сейчас Йонас с Гервазасом заметили, что она изрядно пьяна.

— Ах вы петухи! Ах вы неслухи! — бранилась Каруселла.— Говорено вам было, чтоб к двери — ни-ни!

— Вы скажите, где отец, и мы сразу уйдем.

— А за то, что игре помешали, нижайше просим прощения,— смягчил слова Йонаса Гервазас.

Фелиция, никого не слушая, снисходительно улыбаясь, обошла вокруг братьев, словно столяр, который нашел три дуба и теперь соображает, что бы толковое из них смастерить.

— Говорите, приспичило, да?

— Так уж вышло. Сказать было нечего,— сдались братья.

— А хотите здесь остаться? Стол, одежда, хорошие деньги... Хотите королевне служить?

— А почему же нет...

— Чего уж лучше...

— Я как все,— один за другим откликнулись братья, и королевна приказала им обезоружить и раздеть начальника стражи. Пусть Амбразеюс его платье наденет, а свои лохмотья ему отдаст. Все равно, дескать, он жаждет остаток дней простым солдатом прослужить.

Каруселла взяла свечку и повела мужчин в дальнюю комнату, где они могли бы сделать все свои неотложные дела и исполнить приказ королевны.

— Значит, ты,— обратилась Фелиция к Швипсу,— непременно хочешь узнать о своем отце? О человеке, поторопившем смерть Аштаутаса...

— Пусть так,— согласился Швипс.

— По-моему, его замуровали живьем. Только не припомню, где... Но я узнаю,— пообещала Фелиция.

— Замуровали живьем!..— ужаснулся Йонас.

— Впрочем, он вряд ли был живой,— махнула рукой королевна.

Жуткую тишину нарушил Ремигиюс, снова цитируя кого-то из мудрых:

— «Без убийства животных не мог бы существовать лев, царь зверей. Без жестокости тиранов не было бы святых мучеников.» Фома Аквинский! — похвастался Чахлый.

— А ты, Гервазас, о чем хочешь просить? — поинтересовалась Фелиция.— Чтоб мои люди через плетень тебя выбросили, как цыгана? Или что-нибудь еще?

— Спасибо,— ответил тот.— Если позволите, я тоже уйду. Йонас — мой друг, поэтому я здесь.

— Но меня вы тут не видали! — предупредила королевна.— Умеете держать язык за зубами?

Оба парня кивнули.

Вернулась Каруселла, а за ней следом — развенчанный начальник стражи в мужицких лохмотьях, Бенедиктас, Дзидорюс и Бразеюс, сияющий от удовольствия. Всех господских одежд он напялить не сумел, и кое-что перепало братьям. У одного из-под сермяги сверкал золототканый жилет, другой красовался в расшитых замшевых перчатках.

Фелиция, довольно поглядывая на них, вытащила из рукава платочек и собралась уже вволю посмеяться, но для такого смеха, чтоб от души, чего-то не хватало, а может, было слишком много. Поэтому она только скривила губы и зевнула.

Это был знак, по которому Каруселла предложила всем разойтись.

Напрасно Швипс уговаривал братьев попросить у королевны то, что собирались просить, да спешить домой выручать Кастуте. Старшие Атутисы ответили, что он молод их учить, в поместье ни разу не порот и не знает, сколь трудна жизнь крепостного.

— Батюшка тоже был крепостным! — с болью в голосе воскликнул Швипс.— А если уж вы при Фелиции остаетесь, так хоть для Кастуте вольную попросите.

Атутисы расхрабрились и обещали поговорить насчет сестры попозже. Но младший понимал, что братья, обласканные королевной, словно коты, надолго втянули когти и будут ласться к ней, пока она их терпит.

Поэтому утром Швипс пошел к Каруселле спросить еще раз, где замурован отец (может, королевна позволит похоронить его останки на родине), и от имени братьев попросил, чтобы Фелиция даровала всем Атутисам волю.

Королевна согласилась, велела Ремигиюсу написать необходимую бумагу и поинтересовалась, чего бы хотел Гервазас. Он тоже собирался покинуть дворец и был приведен к присяге, что никому не расскажет о том, что здесь видел и слышал.

— Не был бы я цыганом, если б коня не попросил. Не ехать же мне обратно на поросе...

Королевна улыбнулась и приказала Каруселле отдать ему одного из коней Мелании, но Гервазас, поблагодарив, ответил, что чужого добра ему не надо.

Фелиция несколько удивилась и приказала Чахлому составить документ, в котором к имени Гервазаса была бы добавлена дворянская фамилия Свечкевич и где бы свидетельствовалось, что королевна дарует ему остров Нищих на Русалочьем озере.

На последнее свидание парней с королевной был приглашен и Пранас Профанас. Он, конечно, и не помышлял уходить из дворца и на вопрос Фелиции, чего бы он хотел, отбарабанил, как молитву:

— Лишь об одном покорнейше молю: просветите меня, владетельная, удостойте хоть по большим праздникам зреть ваше светлейшее лицо, а до остального мне — ни нужды, ни заботы.

Фелиция тут же отдала его под опеку Ремигиюса, и

Чахлый, затащив Пранаса в свою келью, засыпал его мудренными вопросами:

— Кто несет величайший крест на свете?

— Светлейшая королевна Фелиция! — не задумываясь ответил Пранас. И добавил: — Поскольку всеми нами повелевает.

— Нет, в данном случае — это ветряная мельница,— мягко поправил Ремигиюс.— А через что должен перешагнуть человек, входящий во дворец?

— Ну, через таких, как эти... Швипс, Гервазас. Иначе говоря, через врагов королевства и королевны.

— Гм, я, видите ли, имел в виду порог,— как бы извиняясь, промямлил Чахлый.— А теперь скажите-ка мне, сударь: — Что стар и мал каждую минуту делают?

— Каждую минуту? Что ж им делать... Бога и королевну славят. Во всяком случае, должны славить,— уверенно провозгласил Пранялис, и Чахлый не посмел перечить и доказывать, что люди каждую минуту стареют...

Ученик Ремигиюса в некотором роде уже превзошел своего учителя.

Глава XVII

СТЕНА

Когда Ксаверия призналась тетушке, что хочет уехать вместе со Швипсом, та первым делом бросилась в свою каморку за сердечными каплями. Приняв валерьянку с ландышем, она возвратилась и, схватив гусиное крыло, решила отхлестать девушку. Но Ксаверия смотрела на нее такими чистыми, добрыми глазами, что тетушка обняла ее и, не выпуская крыла из руки, заплакала. А когда Ксаверия, вся в слезах, согласилась остаться, Каруселла погладила ее по волосам и сказала:

— Да нет уж, деточка, езжай... коли сердечко просит. Тоскливо мне будет без тебя. Но, правду сказать, не желаю я тебе своей участи. Если вдруг беда, если вернуться решишь, приходи — не выгоню. Королевне совру, что поехала Меланию проведать. Так ли, так ли — все равно лгунья. Ведь знала, хорошо знала, что с беднягой Атутисом стряслось, не сказала. А чего добилась? Бегут парни — и правильно делают. Пойду соберу вам что-нибудь в дорогу.

Утром Йонас, Ксаверия и Гервазас запрягли того само-

го Пёстрого, на котором пожаловали Атутисы, и, простившись с Каруселлой, покинули королевский дворец.

В пергаменте, выданном Фелицией, говорилось, что старый Атутис был колдуном, судимым инквизицией, и умер, замурованный в подземелье Доминиканского монастыря. У монастырских ворот путники просунули сторожу сквозь крохотное окошечко свою бумагу, в которой Фелиция просила (не требовала, а именно просила!), чтобы святая инквизиция вернула Йонасу Швипсу Атутису тело казненного отца, осужденного в таком-то году от рождества христова.

Прошел час, два, а может, и больше. Но в монастырь их не впускали. Швипс и Гервазас принялись колотить в ворота и кричать, что вот-де они вернутся во дворец и пожалуются королевне на монахов, не уважающих королевскую печать.

Может, доминиканцы немножко струхнули, а может, время подошло — в воротах возникло нечто человекоподобное в коричневой рясе. Из-под капюшона торчал нос, острый как клюв, в ноздрях спутались волосы, поблескивали пронзительные карие глаза. Появись тут сам дьявол, и он не показался бы страшнее этого истощенного рычащего «пса господня», как эти монахи называли себя.

Ксаверию он наотрез отказался впустить в монастырь, ибо она — женщина, а то и сам Сатана в образе молодой девушки. Гервазаса оттолкнул, потому что он цыган, неведомо какой веры и откуда явившийся, а Швипса отчитал за столь подозрительных друзей.

Швипсу было сказано, что сначала он должен исповедаться и перед распятием присягнуть, что никому и никогда не расскажет о том, что здесь увидит. Тот — делать

нечего — согласился и пошел следом за коричневым дьяволом в часовню монастыря.

Ксаверия и Гервазас распрягли коня и стали ждать с тревогой в сердцах.

На исповеди монах расспрашивал Йонаса, кто он такой, откуда, как попал во дворец, что там делал, что слышал, что видел. Тот отвечал, что связан клятвой молчать об этом. Никого не убил, не ограбил, не обжирался, не напивался, вот хоть лопни — не может вспомнить за собой ни одного греха, не может — и все!

Потом признался, что утренней и вечерней молитвы не читал, над своим ближним, Пранялисом, издевался, в костел давненько не захаживал. И вдруг даже обрадовался, вспомнив грех посерьезнее.

— Вот сегодня, когда вас увидал, святой отец,— сказал он исповеднику,— я подумал, не вы ли моего батюшку замучили. Ненависть к вам почувствовал.

— Я видел твое лицо. Признайся, был соблазн отомстить мне?

— Нет. Наверно, я понимал, что не в силах буду...

— А сейчас, сейчас чувствуешь неприязнь к ближнему своему, ко мне?

— Не знаю. Я только хотел спросить, не приходилось ли вам видеть Атутиса — отца моего?

— Видел, припоминаю. Еретик, одержимый бесом...

— И вы его замучили? Живьем в стену! — почти закричал Швипс.

— Слышу в твоем гласе не смирение, не раскаяние, а злобу необузданную. Это не исповедь, а святотатство. Отпущения грехов не получишь. Пойдем помолимся вмес-

те, дабы вспомнил, что ждет очерствевших в своей гордыне смутьянов.

Старик повел Швипса в подземелье монастыря, где в нишах гнили гробы, где прямо на земле, уронив голову на кирпич, лежали высохшие или обратившиеся в скелеты покойники. Время от времени, услышав шаги за толстыми, окованными железом дверями, жутко стонали, гремели цепями и взывали к милосердию неведомо когда и за что брошенные сюда узники.

Монах с фонарем и связкой ключей шагал молча, на вопросы Швипса не отвечал и только подталкивал его то направо, то налево, пока они не очутились в подвале для пыток. Об этом говорили вбитые в стену цепи, колодки, разбросанные по полу, козлы, на которых терзали людей; будто в кузнице, на горне были разложены всевозможные клещи, крюки, иглы; тут же висели обручи с шипами и плети.

— Могучий бес сидел в твоем отце! — словно объясняя назначение этих предметов, сказал инквизитор.— Разве христианин посмел бы швырнуть в лицо королю свою вшивую рубаху! Разве сумел бы так околдовать короля, что он тут же, без святых даров, упал мертвым! Слыхал об этом?

— Люди всякое болтают,— вымолвил Швипс.

— Может, тебе сие колдовство известно? Или ты хочешь его постигнуть?

— Какое там колдовство,— возразил Йонас.— Хорек, кроха, и тот, загнанный в угол, бросается на человека да кусает куда попало. И так и этак — конец...

— И в тебе, вижу, прорастает сатанинское семя, уже прорастает. Молодой, а уже гордыней переполнен,— вор-

чал доминиканец, для чего-то разжигая горн.— Люди за тысячу верст приходят поклониться костям усопших монахов, а он, видите ли, явился останки еретика забрать, отступника во веки проклятого, сообщника Сатаны! Сбрось-ка свою одежду, преклони колени у святого огня.

Сам инквизитор, показывая пример, сбросил рясу и власяницу и, бормоча латинскую молитву, всё подбрасывал и подбрасывал в огонь обломки гробов.

Побаиваясь, как бы этот сумасшедший не затеял что-нибудь пострашнее, Швипс покорно разделся и встал на колени рядом с монахом.

— О господи! Сколь совершенное подобие облика твоего! — коснувшись плеча Швипса, непривычно молился инквизитор.— Не допусти же, чтоб в сем юношеском теле свил гнездо дьявол, чтоб в этой светлой голове,— он погладил Йонаса по волосам,— враг рода людского посеял репейник гордыни и ереси! Спаси и убереги его, господи! Не дай злому духу обратить сего юношу в орудие греха и похоти!

Полуголый старик подталкивал Швипса все ближе к огню, доставал из пламени горячий пепел и посыпал им голову себе и парню.

— Благодарю тебя, всемогущий боже, что спасения души моей ради, ты иссушил мое тело! — жутким эхом гудело подземелье.— Но вразуми сего юношу, дай ему за безобразием лица моего, за морщинами плоти моей, за скрипом костей моих разглядеть рыцаря твоего, божественной красоты в сияющих латах! И да возлюбит сей юный отступник через меня, слугу твоего, тебя, господи. Аминь.

Спекшимися губами монах поцеловал Швипса и произнес дрожащим голосом:

— Отвечай, Йонас Атутис, любишь ли ты меня, как ближнего своего и как рыцаря владыки небесного?

— Не знаю,— ответил Швипс.— Здесь так жарко, что я мог бы солгать против воли.

— Так ты и теперь не боишься греха и жаждешь мести?

— Отпустите! У меня волосы тлеют! — Йонас вырвался из костлявых рук инквизитора и сказал, что цыганенок, не дождавшись его, уже, наверное, мчится назад, во дворец, жаловаться: доминиканцы схватили Швипса и бог ведает, что там делают с ним.

— Йонас, сын мой,— почти умолял старик,— докажи, что всевышний внял молитве моей, что в сердце твоем не таится ненависть. Обними и поцелуй меня, как я тебя целовал.

— Нет! — отпрыгнул Швипс.— Ты изувер! Ты замучил отца моего! Пусти! Прочь от меня!

— Что ж... Если истлевшие кости колдуна тебе дороже божьей милости — иди! — забери их и будь проклят навеки! — воскликнул монах и, схватив фонарь, зашагал по подземелью к стене, заляпанной большими пятнами извести. Там, в тесных каморках, когда-то были замурованы заживо люди, неугодные, несломленные — еретики.

Сквозь небольшую отдушину монахи передавали обреченным хлеб и воду, а если несчастный не откликался, инквизиторы закладывали четырьмя кирпичами и это последнее окно в жизнь.

— Здесь,— указал доминиканец.— Я его не убивал и не пытал, я только приносил ему пищу.

— А почему его окошко было так высоко? — спросил Швипс, глотая слезы.

— Потому что он взглядом своим умел заронить в душу человека тревогу и ересть. Я сказал,— сам дьявол одарил его колдовской силой.

— Он просил что-нибудь передать?

— Может и просил,— снова мучил Швипса монах.— Я говорил, протяни мне руку, поцелуй как брат брата, как сын отца.

— Скажи — как убийцу отца! — воскликнул Йонас и, зарыдав, упал на колени возле толстой кирпичной стены.

— Уста твои извергают лишь богохульства, и поэтому никакого инструмента я тебе не дам,— сказал инквизитор.— Грызи эту стену зубами, ногтями рви... Пусть дьявол поможет тебе!

Швипс долго рыдал, уткнувшись в кирпичи, и не сразу заметил, что монах оставил его одного. Пока в фонаре еще тлеет огарок свечи, надо бежать, искать выхода из этой ужасной могилы... или сокрушить стену. Но как? Ему казалось, что там, за этой проклятой стеной, еще пребывает дух отца, что, пробив ее, он узнает, как и ради чего надо жить в этом бессердечном мире, полном лицемерия и лжи. Кому верить? Как сохранить свою жизнь и совесть незапятнанной?

Оглянувшись, он заметил в нише истлевший труп, из-под черепа осторожно вынул кирпич и в исступлении стал колотить им по кирпичам, отделявшим его от отца.

Если бы инквизитор увидел его сейчас, он бы, чего доброго, и вправду уверовал, что Швипсу помогает некая потусторонняя сила: казалось, что стена крошится, трескается не столько под его ударами, сколько от ужасающей

ненависти, от убеждения, что эта стена не может быть вечной, что теперь кончилось ее время, кончилось-кончилось-кончилось!

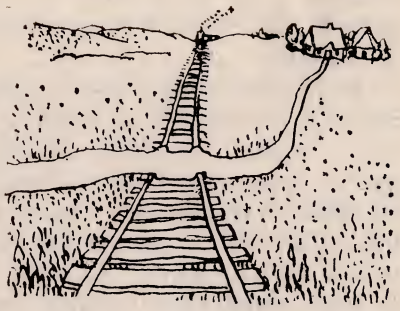
Йонас чувствовал: этот мрачный склеп строил не каменщик, не искусный мастер, с любовью кладущий кирпич к кирпичу, а некий выродок, вовеки не создавший ничего прекрасного ни своим умом, ни своими руками — выродок, который всю жизнь выискивал ересь и только мешал думать, творить и строить другим. Такая стена не может быть крепкой! Ее давно расшатали жаждущие света глаза! Страдание, что так больно вгрызается в человеческое сердце, должно было разъесть эту стену! Она должна рухнуть — и рухнет, рухнет, рухнет!

И стена рухнула.

Когда осела пыль и Швипс выбрался из-под обломков, он увидел не затхлое тюремное подземелье, а голубой небосвод, зеленый берег, озеро...

По лесной дороге мимо протарахтел вишневый мотоцикл. За рулем сидел Гервазас, а у него за спиной — Ксаверия с букетом люпина.

Эпилог



НА ПЕРЕЕЗДЕ

Я обогнул большое озеро, в которое впадает пять-шесть ручейков. Когда и как я их перепрыгнул, убей бог не помню. Это мои милые птицы-мечты носили меня на крыльях. Я чувствовал себя усталым, проголодавшимся. Ведь с большой перемены у меня во рту даже заячьей капусты не было, а теперь уж и солнышко низко.

Шагая дорогой, по которой умчался мотоцикл, я вскоре вышел на шоссе. Слева — железнодорожный переезд, а справа, километрах в двух, мой дом, где молоко, хлеб, мед и куча неприятностей из-за школы.

А вишневый мотоцикл, оказывается, далеко не уехал: прямо перед носом у него опустился автоматический шлагбаум. Два красных фонарика поочередно угрожали: поезд! поезд! поезд! Я бы и не посмотрел в ту сторону, если бы за «Явой» не пристроился наш школьный Гнедой. Телегу, видно, только что помыли, но навозом от нее все равно тянуло. На доске, брошенной поперек телеги, сидел завхоз, а рядышком директор Думшайте. Я вспомнил: Рак хвастался, что его мать дарит школьному музею ткацкий

станок, прялку и еще вагон всяких старинных вещей. Вот, видимо, директорша и едет за экспонатами — семья Раков переезжает в новый дом, а от старого, говорят, мелиораторы и следа не оставят.

Я призадумался, а может, предложить директорше свою помощь? Ведь я тоже член этнографического кружка, подарил музею шикарную керосиновую лампу и тусклое зеркало в резной раме. Очень кстати было бы помириться с Думшайте, сдувая пыль с ткацкой старины. А Жобакас пусть только вякнет! Покажу распухшее ухо, скажу, прошли те времена, дорогой товарищ завхоз! Непедагогично это: вилами охаживать коллективную лошадку и кулаками реагировать на критику снизу!

Я уж было шагнул к телеге, но тут прямо за нею тормознул «жигуленок» Лекятиса. Его отец несколько лет был председателем колхоза, построил себе дом, купил машину, но как-то быстро перессорился с людьми, и поэтому теперь у нас новый председатель, а Лекятис остался экспедитором. Небось, едут с Йонасом рыбу ловить на нерестилище, конечно. Сегодня этот Йонас на большой перемене благоухал, негодяй, копченым рыбцом, ловить которого строго-настрого запрещено.

Нет, не хочу, чтоб Йонас-дылда завтра в школе трепался, что я лез к директорше мириться. Пойду-ка лучше домой.

И опять мои планы спутала машина: подъехал наш колхозный грузовик. В кабине сидел Лёнгинас, шофер, и мой отец. Он уже не первый вечер помогает людям переезжать в новый поселок, а сейчас, скорей всего, к Ракам едут. Там, конечно, встретятся с директоршей, с Жобакасом, а те в два голоса начнут мои грехи перебирать... нет, я должен там быть.

Когда грузовик остановился, я — ногу на колесо — шасть — и прыгнул в кузов. За нами остановился трактор «Беларусь». Тракторист, чтоб побесить Лёнгинаса, так прижался к нашему ЗИЛу, что между ними и спичечный коробок не пролез бы.

Вот так владеть машиной мечтал и я.

Но что такое? Скорый промчался, а шлагбаум не поднимается. Видно, ждут еще один состав.

От скуки поглядывая на переезд, я чуть не просмотрел интересную картину: проголодавшийся Гнедой вытянул шею и начал осторожно щипать букет люпина прямо из рук девушки, сидевшей на мотоцикле. Та обернулась, увидела перед собой длинное тоскливое лошадиное лицо и, вскрикнув, что-то сказала парню. Он тут же соскочил с мотоцикла, схватил Гнедого за нос и заставил его отступить шага на три. Жобакас и оглянуться не успел, как — дзинь! — телега размесила фару у «Жигулей».

Лекятис, сигналя, вставил заднюю передачу — трах! — и влепился в грузовик, потому что наш Лёнгинас, побаиваясь тракториста, только что слегка подал вперед.

Ну и дискуссия началась! Я влез на крышу кабины, и всё было видно как на ладони. Сначала расколыхался Лекятис и заставил товарища завхоза вылезти из телеги. Тот накинулся на мотоциклиста. Лёнгинас с моим отцом выкатились из кабины и давай тракториста воспитывать.

Я разобрал только, как мотоциклист закричал девчонке:

— Номер юбкой закрой!

Не выпуская обглоданного букета, она попыталась одной рукой натянуть короткую юбку на номер, но «Ява» рванулась, а она — кувырк! — и полетела на дорогу.

Ее кавалер впопыхах даже не заметил этого, нырнул под шлагбаум — и был таков...

К этому времени обстановочка изменилась: мой отец ругал тракториста, Лёнгинас упрекал Лекятиса, дескать, сам виноват. Экспедитор размахивал руками перед директоршей, а Жобакас в подтверждение своей невиновности крепко держал за руку девчонку. И только Гнедой, понурив голову, равнодушно подбирал с асфальта рассыпавшийся люпин. Я решил почесать его между ушей в благодарность за это веселое приключение и слез с кабины.

Тут девчонка сняла шлем, смотрю: да это же моя сестра Йоланта, та, что с матерью живет. Я велел ей не реветь, назвал дурой — зачем Гнедого испугалась. Словом, тоже внес свою лепту в общий гвалт, который еще долго не смолкал.

Невдалеке послышался звонкий, приятный разговор козы с козленком: бэээ — меее, бэээ — меее... К полю боя вместе со своей Милкой спешила школьная уборщица Бульбучиха, большой любитель всяких передряг. А если начинала говорить о себе, то только о «бульбочках». Кто, и где выделит ей участок на картошку — бульбочку, кто поможет посадить, прополоть, убрать. Вот так, «бульбочки-больбочки» — и сама превратилась в Бульбучиху.

— Меее, меее,— припадая к обвисшему материнскому вымени, блеял козленок. Но на мордочке у него красовался недоуздок с куском ежовой шкурки, иглы больно кололи мать, поэтому Милка отвечала — бэээ-ги, кормись травой. Молоко для Бульбучихи, для «бульбочек»...

Уборщица даже мне как-то говорила, что школьные потасовки ей интереснее этого «тевелизора», а тут — такое! И директор школы, голубушка, замешана, и бригадир, которому надо поклониться за хорошие сотки, и тракторист, и Лёнгинас — он помогал Бульбучихе картошку сажать...

Раскрыв глаза и даже рот, чтоб при случае вставить свое «ой-ой-ой, что ж творится!», Бульбучиха торопливо привязала Милку к полосатому шлагбауму, отошла, снова вернулась, покороче привязала козу, чтоб не вышла на рельсы: вдалеке уже пыхтел поезд.

Экспедитор, подсчитав причиненный «Жигулям» ущерб, прямо в рот кричал Жобакасу, что на мотоцикл ему наплевать. Кто вожжи держал, тот и ответит за разбитый передок легковушки. А насчет багажника другой разговор. Тут уж грузовик виноват — дистанцию не соблюдал. Если Жобакас и Лёнгинас не желают платить по-хорошему, то все: телега, «Жигули» и ЗИЛ будут стоять и ждать автоинспектора.

Мимо прогрохотала цепь товарных вагонов, поднялся всеми забытый шлагбаум, и несколько голосов разом крикнули:

— Смотрите-ка, смотрите, коза повесилась!

И в самом деле, коротко привязанная Милка уже подергивала ногами, не доставая до земли, худая шея вытянулась, бородка вздёрнулась; даже козленок, чуя беду, вдруг замяукал по-кошачьи. И все же эта картина многим показалась смешной. Бульбучиха, взывая о помощи к господу богу и людям, попыталась пригнуть к земле полосатую балку, а Жобакас захихикал:

— Это автоматический! Сторожа не дозовешься.

И тут я увидал, как к козе бросилась Думшайте. Она схватила Милку за задние ноги и приподняла, чтоб веревка не сдавливала ей шею. Коза билась, сыпала горохом, разорвала директорше блузку, но та все равно не отпустила ее.

— Мужчины, помогите! — вскрикнула Думшайте.— Давайте телегу, встаньте, веревку отвяжите!

Отец — проще: поднял меня на руках, кто-то протянул мне нож, я — вжик-вжик! — и перерезал веревку. Директорша рухнула вместе со спасенной козой, а рядышком, от волнения не слишком удачно, приземлился и я.

Впервые так близко, нос к носу, смотрели мы друг на друга: наша директорша и я. Оба плакали. Не знаю, может, мы все еще жалели козу, может, нам было больно от бессердечного смеха, а может потому, что всё кончилось благополучно.

Здесь, у переезда, мы и помирились.

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. Если у дождевого червя оторвать ножку 5
То не солнышко над лесом поднимается..... 12
Глава I. Портрет короля 17
Глава II. Зеленая птица — попугай 28
Глава III. Поместье Мелании 40
Глава IV. Экзамен 50
Глава V. Капля в море, ветер в поле..... 59
Глава VI. Побег 67
Глава VII. Вампир 79
Глава VIII. Одолжи мне свой живот..... 90
Глава IX. Кто не плакал, тому не смеяться 99
Глава X. Чудо-небылица 113
Глава XI. Нога в колесе, нога в колесе..... 126
Глава XII. Веревка 136
Глава XIII. А потом хоть потоп 147
Глава XIV. Да здравствует Фелиция! 158
Глава XV. Придешь нагишом, унесешь за пазухой 169
Глава XVI. За резной дубовой дверью 181
Глава XVII. Стена 191
Эпилог. На переезде 200

Сая Казис

С 22 За таинственной дверью: Повесть-сказка. Для ст. школ. возраста. Пер. с литов. Н. Воронова; Ил. С. Эйдригявичюса.— Вильнюс: Vaga, 1984.— 207 с., ил.

Аллегорическая повесть-сказка о необыкновенных приключениях мальчика, победившего в трудной и опасной борьбе со злом.

С $\frac{4803010200—348}{М852(08)—84}$ 287—84

ББК 84Ли7
Л2

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ИБ № 3652

Сая Казис

ЗА ТАИНСТВЕННОЙ ДВЕРЬЮ

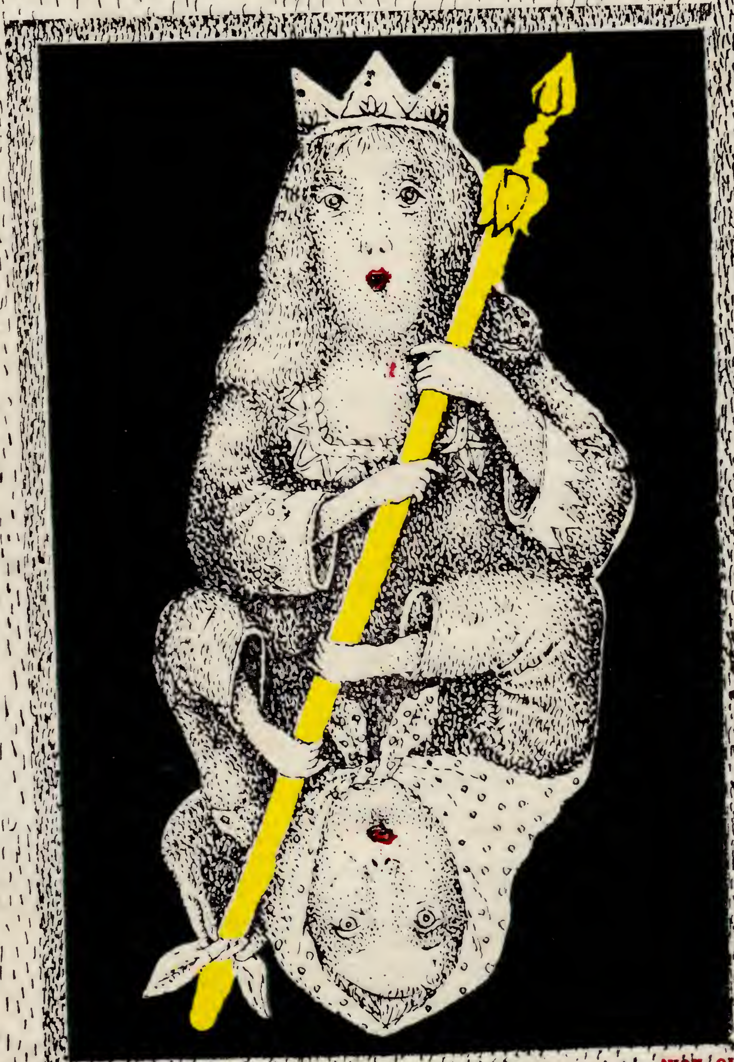
Повесть-сказка

Редактор Е. Васильева
Художник С. Эйдригявичюс
Худ. редактор С. Хлебинскас
Техн. редактор Э. Румбавичене
Корректор Ю. Мацкявичене

Сдано в набор 19.05.1984. Подписано в печать 29.10.1984. Изд. № 11327. Формат 70×108 1/32. Бумага печатная № 1. Гарнитура «Балтика», 9 пунктов. Высокая печать. 9,1 печ. л. 9,5 усл.-кр. отт. 8,7 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз. Заказ № 7011

Цена 45 коп.

Издательство «Вага», 232600, Вильнюс, пр. Ленина, 50
Отпечатано в типографии Мотеюса Шумаускаса, 232600, Вильнюс, Страздялё, 1



15 коп.